



Василий АКСЕНОВ



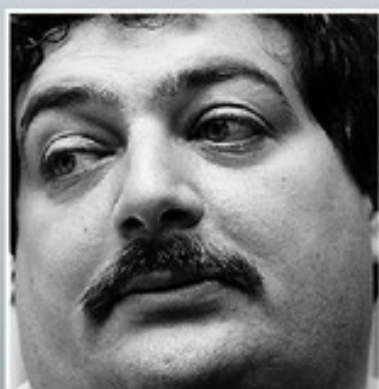
Владимир СОЛОВЬЕВ



Михаил ЖВАНЕЦКИЙ



Виктор СУВОРОВ



Дмитрий БЫКОВ



Андрей МАКАРЕВИЧ

М. ВЕЛЛЕР
Друзья и звезды



Сергей ЮРСКИЙ



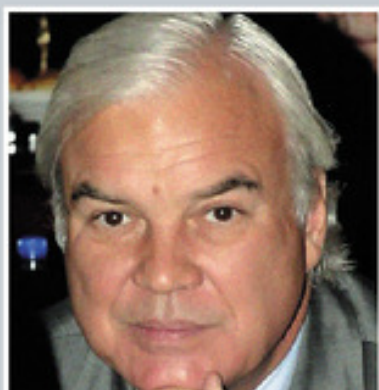
Борис БЕРЕЗОВСКИЙ



Борис СТРУГАЦКИЙ



Михаил ГЕНДЕЛЕВ



Владимир МОЛЧАНОВ



Евг. ЕВТУШЕНКО

Михаил Веллер
Друзья и звезды

«Издательство АСТ»

2012

Веллер М. И.

Друзья и звезды / М. И. Веллер — «Издательство АСТ», 2012

ISBN 978-5-271-45083-9

***НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ВЕЛЛЕРОМ МИХАИЛОМ ИОСИФОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ВЕЛЛЕРА МИХАИЛА ИОСИФОВИЧА. Чёртова дюжина блестящих судеб, в которых яснеет величие и крушение державы: секреты нашей истории и парадоксы культуры глазами простых гениев.**

ISBN 978-5-271-45083-9

© Веллер М. И., 2012

© Издательство АСТ, 2012

Содержание

Василий Аксенов	5
1	7
2	8
3	9
4	10
5	11
6	12
7	13
8	15
9	16
10	17
11	18
12	19
13	20
14	21
15	22
Евгений Евтушенко	24
Борис Стругацкий	44
Сергей Юрский	59
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Михаил Веллер

Друзья и звезды

Василий Аксенов

О победе на полпути к Луне

Хрущев громит интеллигенцию! На трибуне оправдывается Андрей Вознесенский. В президиуме третий справа Леонид Брежнев, четвертый – Михаил Сулов.



Легендарный «Метрополь», 1979 год. Слева направо снизу вверх: Борис Мессерер, Фазиль Искандер, Андрей Битов, Василий Аксенов, Евгений Попов, Виктор Ерофеев, Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Зоя Богуславская.

1

Новогодний вечер был прекрасен, и желание передуть гостей придавало ему внутренней энергичности. Шампанское и садизм сочетаются пикантно.

Напротив за столом сидел Василий Аксенов, и мои друзья, сбросив культурные личины, обращались к нему на ты и вообще с хамским равноправием. А одна лысая дубина, записной весельчак-тамада, утомительно дудел свои темы, слова не вставить.

Они типа давно знали Аксенова, понимаешь. Меня представили, я оказался влипшим в окружающий воздух до неподвижности и с негодованием завидовал развязным болтунам, шутившим с Аксеновым.

– Эге, ребята, да вы, я вижу, взялись за дело всерьез, – одобрительно сказал Аксенов, когда по отмашке Генделева я скрутил пробку очередному литру «Абсолюта». Сам он сдержанно общался с бутылкой бордо. Он ее и принес, правильно прогнозируя ситуацию. Он бегал по утрам и играл в баскет.

Уже рухнул Союз, и Аксенов наезжал в Москву периодами. Ему вернули гражданство и дали квартиру в высотке на Котельнической. Сумасшедшая жизнь в разоренной и обогащающейся Москве была непонятна. Литература рухнула в неги, советские писатели ушли под горизонт растерянно и ошеломленно.

Я встал и со злобной значительностью вбил тост про классика, честь сидеть рядом, пусть каждый знает свое место, и несмотря на окружающее, на прошлое и будущее, все отлично.

– А ты, Мишка, со своей ледяной эстонской жизнерадостностью, – сказал Кабаков, – только оттеняешь трагичность жизни русских писателей.

– Такой русский, хучь в рабины отдавай, – чмокнул цитату Генделев.

Аксенов был немногословен, дружелюбен и лукав. Он был естественно прост – никакой дистанции между ним и тобой. Спокойный мужик, сипатый голос, у глаз морщинки. Курит и слушает.

Я сидел и смотрел.

Когда он ушел, мы вдруг сразу напились.

2

Ни одна крупная личность не бывает понята до конца.

Любая крупная личность являет собой портрет и летопись эпохи.

Кто был ОН и кто был я – когда пятиклассник на забайкальской станции Борзя читал в журнале «Юность» странную повесть «Коллеги»? Странная она была тем, что люди разговаривали в ней не как в книжках, а как кругом на самом деле: это было непривычно и рождало некое непонятное волнение. И вся интонация повести была какой-то такой, как люди просто разговаривают о жизни и разных своих делах. Пятиклассник не отдавал себе в этом отчета, конечно, не мог это сформулировать, просто испытывал легкое приятное удивление от чтения: было в этом чтении доверительное узнавание интересной и настоящей жизни.

Это и была новая советская литература – молодежная проза оттепели: между писателем и читателем отсутствовало пространство взаимоусловленной фальши. И под уровнем слов всегда дышала наготове та подначка, с которой мы разговаривали между собой. Герои перестали выпендриво вещать и прикрыли шуточками благородную сущность.

«Набравшись духа, он прополоскал рот двумя десятками английских слов. Капитан, сморщив лицо, слушал, а потом спросил:

– Ду ю спик инглиш? Френч? Джермен?»

– Слушай, как ты все это помнишь? – спросил Аксенов сорок лет спустя; это звучало так, словно он ответно возвращал мне тень сделанного ему комплимента.

– Ты это писал – а мы с этим формировались, в нас это осталось частью раз и навсегда воспринятой действительности, – ответил я.

И как только услышал свои прозвучавшие слова – я понял, что никакой лести тут не было, а была правда: просто странно и непривычно, что правда может звучать так – как заздравный тост. Или, того чище, надгробная речь, которая при жизни не имеет к человеку никакого отношения.

Он преувеличивал мои способности: скажем, я десятилетиями помнил из «Коллег», как «аппетитно булькнула поллитровочка», в оригинале же писалось «заклокотала водочка», а «аппетитно» – это уже хрустнул соленый огурец. Вообще все фразы из книг, что помнишь, со временем подтачиваются в памяти под собственный слух.

3

– «Я смотрю, как мелькают впереди него чешская рубашка с такими, знаете ли, искорками, штаны неизвестного мне происхождения, австрийские туфли и стриженная под французский ежик русская голова», – сказал я.

– Да я уж этого и не помню, – сказал он.

– Самое начало «Звездного билета» брало сразу. Это было ни на что не похоже, это было кратко, просто, смачно и весело.

– Да просто – как мы говорили, так оно и писалось, – пожал плечами он не совсем всерьез.

Мы помолчали, потому что все, что я мог сказать Аксенову про звездных мальчиков, язык поколения, метания и судьбу, было уже тысячи раз слышано им от других и читано.

– «Слазь с коня, иди сам!» Мы этими фразами разговаривали друг с другом.

– Знаешь, – Аксенов оживился, вспоминая с легким вздохом удовольствия, – «Звездный билет» был напечатан в «Юности», окончание седьмой номер шестьдесят первый год. В это время уже снимали фильм, мы в Таллине были. И вот выходим на пляж – и весь пляж, сколько глазу видно, в оранжевых таких прямоугольниках. Тот номер «Юности» был в оранжевой обложке. Тираж же огромный был, ты помнишь. И вот люди лежат, загорают, и везде эти оранжевые обложки. Вот тогда я почувствовал реально в первый раз, что-то вроде славы пришло.

4

- «– Досталось нам, правда?
- Немного досталось.
- Ну и рейс был, а?
- Бывает и хуже.
- В самом деле бывает?
- Ага.
- А улов-то за столько дней – курам на смех, а?
- Не говори.
- Половим еще, правда?
- Что за вопрос!
- В Атлантике на следующий год половим, да?
- Возможно».

Когда я это перечитывал, у меня не было сил не процитировать себе самому: «Она любила ловить рыбу. Она любила ловить рыбу с Ником». Хемингуэй, «Что-то кончилось». Все мы читали Хемингуэя, все под впечатлением, куда ж денешься, и хоть иногда подражали, вольно или невольно. Это было возвращение честности в литературу, а он – вернулся первым. Седобородый символ мужества в грубом свитере – портрет висел в каждой интеллигентной квартире.

– Слушай, а критики в свое время говорили что-нибудь о связи диалогов ранней прозы Аксенова со стилем Хемингуэя?

– Ну, это было общее место. А кто с ним не был связан? Все мы с ним были связаны. Всем хотелось быть честными и такими грубовато-мужественными. Пафос советской литературы мы просто люто ненавидели. И было понимание, ощущение, что нельзя писать так, как раньше. Они писали для Сталинских премий, а мы хотели – для своих друзей, знакомых, нормальных людей.

А сколько тогда под Хемингуэя и разговаривали, и пили, вообще вели себя.

Помнишь, в пятьдесят седьмом, кажется, году вышел такой черный двухтомник Хемингуэя знаменитый? Вот это была почти обязательная книга.

Никому я, конечно, не подражал. Но если были где-то близкие совпадения – значит, это естественно, по логике текста получалось, по строю мыслей, по интонации.

- «– А я с пятого класса не могу забыть, – говорю я.
- Скажи там папе, маме... – говорю я.
- Скажу, – говорит он.
- Пиши им, старик, – говорит он.
- Обязательно, – говорю я.
- Вот я и отдохнул, – говорит он.
- Жаль, что так получилось, – говорит он.
- Ладно, старик, – говорит он.
- Держи хвост пистолетом, – говорит он.
- Пока, – говорит он».

5

Это ж надо, ему не исполнилось тридцати, он был такой спортивный крепышок, стилига, хоть выпить, хоть за бабой, хоть по морде. Сын репрессированных партработников, магаданский школьник, ленинградский врач, золотая московская молодежь. У него оказался точный слух на слово. А слово – это звучание эпохи.

Эпоха звучала: «За что боролись? Не то построили!..» Это называлось XX Съезд КПСС.

Суть-то в чем? Что молодежь не знала, как дальше жить и зачем. Старперы-отцы изолгались и обанкротились.

И вот: война позади, жизнь улучшается, дают квартиры, растут зарплаты, есть тряпки и музыка, можно поступать в институты и жить в общем безбедно. А где смысл?!

Дорога в коммунизм окончилась в комфортном спутанном лесу.

Духовный кризис – это когда молодежь не знает, на фига такая жизнь, а стариков это приводит в ярость.

Когда рушится страна, сначала это крушение происходит в мозгах. Причем в мозгах передового класса. Причем из лучших побуждений. В пропасть – вслед за духовным авангардом общества.

Онегины и Печорины надели джинсы и станцевали твист. «Звездные мальчики» несли в себе вопрос без ответа. Несли в себе крушение страны, но страна это еще не понимала. И лишь критики, охранные клетки идеологии страны, инстинктивно попытались сожрать и переварить нечто чуждое.

Самое глупое, что может быть в литературе, – это когда критик объясняет писателю, что же на самом деле писатель написал. Если в роли критика выступает другой писатель, то глупость ситуации достигает юмористических высот. Правда, есть вариант: писателю прямо, честно и грубо говорят в лицо, что он гений.

Тогда вспоминается тот афоризм, что лезть – это агрессия на коленях.

Таким образом, ничего я Аксенову на это не сказал, а только подумал. Дальше Зощенко переходит в Хармса: «посмотрел в глаза со значением и молча руку пожал».

6

Никогда Васе не давали его лет. Был легок, подвижен, стилин. Не поседел, не облысел, не бросил курить, от рюмки отказываться не думал. От соразмерной рюмки.

В свое время квасили шестидесятники со страшной силой. И, ослабнув в свой срок здоровьем, вспоминали молодые подвиги с положенной ностальгией.

Гены Аксенову достались крепкие. Отец дожил чуть не до ста лет. Мать вынесла колымские лагеря и ссылки, и на старости лет сын еще успел показать ей Париж. Но неизбежный образ жизни советского писателя таков, что подлечивать внутренние органы типа печенки иногда приходилось.

– Мне то же, что Василию Павловичу, – сказал я в ресторане, куда Аксенов пришел первым.

– Я пью водку, – показал Аксенов.

Вот черт. А я думал, что он, с его спортивным образом жизни, потребляет исключительно красное для здоровья.

– Да там одно время врачи рекомендовали повоздерживаться... – пояснил он.

Лицо его выражало готовность к доброте. Характернейшей чертой Аксенова в жизни была постоянная внутренняя улыбка.

7

- Я по твоим рассказам на филфаке курсовую писал, – сказал я.
- Что ж там можно было написать, – сказал он. – Интересно было бы почитать.
- В дипломе у меня была глава по «Завтракам сорок третьего года» – как пример контрапункта в новеллистике.
- А какой там контрапункт?..
- Ну там же идут две временные линии параллельно: они сидят в вагоне-ресторане – и враждуют долгие месяцы в школьном военном детстве.
- Ну, если так...

Рассказы Аксенова были категорически нетрадиционны в советской литературе. («Советская» – это была русская советского периода. Нерусские того же периода назывались «литературы народов СССР». Русская заграничная литература – официально не существовала.)

«У нас в Рязани
Грибы с глазами:
Их едят —
А они глядят», —

сказал я. – «Дикой» – поразительно гениальный рассказ, один из лучших, которые я вообще читал. Два варианта судьбы. Оба правы. И оба утопичны. Оба преследовали недостижимые цели. Один строил коммунизм, другой – вечный двигатель. И через неявную иллюзорность созданного в сарае вечного двигателя – подразумевается невозможность якобы реальной коммунистической утопии. А можно и наоборот: если один земляк создал вечный двигатель – так и другой создал справедливое счастье на Земле, которое раньше считалось невозможным. И вся эта дуалистичность бытия закольцована народным стихом, превращаясь в фольклорную байку.

- Вот ты как это понял, – с растяжкой сказал Аксенов, хмыкнул и помолчал.
- А разве не так?.. – спросил я утвердительно.
- Можно, наверное, и так, – согласился он.
- А ты сам разве не этот смысл имел в виду?.. – немного растерялся я, ожидавший естественного согласия с оттенком похвалы за мое глубокое понимание авторского замысла.
- Да как тебе сказать... – протянул он своим сипатым улыбчивым голосом. – Когда пишешь – ни о чем таком ведь не думаешь. У тебя есть какое-то положение вещей, какое-то их развитие... образы возникают, характеры, разговоры. А вот об этих идеях, что ты говоришь, – это, наверное, так, но это уже возникает, значит, само, если ты все правильно почувствовал и написал. Я в «Диком» писал просто о двух людях, ровесниках, с диаметрально противоположными судьбами, и каждый по-своему прав. А если ты там еще что-то увидел – ну, наверно неплохо получилось.

– Поразительно, – неумно пробормотал я, чтоб что-то сказать. – А в «На полпути к Луне» – кроме того, что это и полпути к счастью, и ни туда и ни сюда, – ты никак не имел в виду названием, что «отправить на Луну» – это один из эвфемизмов «расстрелять», типа «в штаб Духонина» или «в Могилевскую губернию»?

- Да нет конечно!
- Я всегда хотел спросить: «Такой же я, как и все, только, может... – и, медленно растягивая в улыбке губы, Кирпиченко произнес гадость». Что он сказал? (Я озвучил свое предположение – гадость, которой мужчина может оскорбить женщину, характеризуя свои достоинства.) Это?
- Да я ничего конкретного в виду не имел, – отрекся Аксенов.

– Нет? – немного разочаровался я.

8

Социалистический реализм – это прославление партии в доступной для нее форме.

– Я много лет не мог понять, что форма у нас была идеологизирована сама по себе, – сказал я.

– Да ты что, – сказал он. – Неужели же кто-то думал иначе. Да когда Хрущев на нас орал, когда он материл Эрнста Неизвестного, – дело же было именно в форме.

– Слышал я от одного редактора ответ на вопрос: «Да что же в этом невинном и патриотическом тексте антисоветского?» – спросил я. «Да каждая запятая!» – ответил он. И потом я понял, что он был прав: эстетический нонконформизм – это эстетический аспект общего протеста. Протестная мода – хоть в одежде, хоть в музыке! Видно молодца по походке, видно сокола по перу. Отличаешься формой – значит отличаешься сущностью. Форма – она и есть проявление содержания. Содержание можно завуалировать, сделать неоднозначным, а форма – вот она! А получи розог! Тоталитарный строй – это единообразие, управляемость, предписанность во всем. И в форме творчества это отражается автоматически!

– «Затоваренная бочкотара» вышла в 68-м. И танки в Праге тоже были в 68-м, – медленно сказал Аксенов. – И жизнь после этого стала другой. Никакой связи здесь, разумеется, нет. Но можно увидеть какое-то совпадение. «Бочкотару» я уже писал не так, как ранние повести. Мне говорили, что сюрреализм советской жизни отразился в сюрреализме литературного изображения помимо сознательного желания автора. И не было у меня никакого сознательного желания. Вот писалось так. Так что с вопросами – это уже к моему подсознанию.

Понимаешь, в чем расхождение. Пишешь как хочешь. Хоть не все, что хочешь. А жизнь такая, как не хочешь. Вот это несовпадение начинает мучить.

9

Слава – это когда другие знают о тебе то, чего ты сам о себе не знаешь.

В погроме «МетрОполя» приняли участие «коллеги-писатели» Сергей Михалков, Юрий Бондарев, Борис Полевой, Виктор Розов, Григорий Бакланов, Римма Казакова, Сергей Залыгин, Александр Борщаговский, Егор Исаев, Яков Козловский и группа товарищей. Юным дарованиям наступали по всем местам. Свободы нанюхались?! Хотели издать альманах помимо цензуры, без редакции и вне очереди... М-мэрзавцы антисоветские!!! Жаль, что посадить не за что...

Наука об изготовлении и распространении слухов называется «руматология», ею владели политики всех стран тысячи лет, и она преподается на высших курсах всех спецслужб мира.

Таким образом Виктор Ерофеев и Евгений Попов, скажем, оказались гомосексуалистами, которые решили издать неподцензурный альманах. Чтобы испытать свою крепкую мужскую дружбу. Все остальные выглядели немногим лучше: выродки и извращенцы, маньяки и бездари. Народ должен знать своих предателей.

Аксенов был фигурой центральной, ключевой. За него и взялись основательней. Он имел миллион долларов в США, исписался, спился, и устроил «МетрОполь» ради скандала, который привлечет к нему внимание на Западе, куда он давно собрался уехать.

Я читал собственными глазами – Виктор Конецкий:

– Аксенову я никогда не прощу, что из-за него молодые талантливые Попов и Ерофеев не могли печататься. И передай Ваське – пусть не попадается мне на каком-нибудь международном перекрестке – в морду заеду! Он меня знает, я это могу!

Учитывая крепкую форму Аксенова и сорок кило пьющего Конецкого – угроза забавляла. Но Витя Конецкий, свой парень, любимец всех моряков, ругатель официальных инстанций – боже мой, и он туда же...

Самый подлый слух пустили про якобы наследство Романа Кармена. Что Аксенов с Майей, еще официальной женой Кармена, ждут только его смерти, чтоб получить немалые киношные деньги Кармена – и тогда сразу уехать в Америку.

И мы спорили, что это неправда.

10

- Вась, а ведь я тебе однажды письмо написал.
- Ну? Правда? И где же оно?
- Где надо, наверно.
- В ГБ, что ли?
- Я ведь тогда никаких ваших дел не знал. Ну, «МетрОполь», ну, слухи.
- Ты что, тоже в альманах хотел? Я о тебе тогда ничего не слышал.
- Потому и написал, что не слышал. Меня однажды совсем достало, что совсем никто не печатает. И я впервые в жизни написал письмо писателю. И два рассказа отправил. Не понравится – выбросите. Понравится – может, хоть доброе слово ответите. Аксенову Василию Павловичу. Кому же еще. Адрес взял в справочнике в Союзе писателей.
- Слушай, я не помню такого письма. Я не мог не ответить. Я бы точно тебе ответил.
- Я его не вовремя послал.
- В смысле?
- 1 июля 80-го года.
- Ну тогда понятно. Так точно помнишь?
- Я как раз на заработки улетал.
- А я как раз в Америку. Вроде того что насовсем.
- 22 июля. Я знаю.
- Ты выбрал время написать.
- Я, честно говоря, обиделся. Пока не узнал, что тебя как раз из Союза выдавливали.
- Видишь, как все в жизни в конце концов встает на свои места.

11

В 1988 году я заведовал в Таллине отделом русской литературы журнала «Радуга». И первым в Союзе напечатал запрещенного Аксенова. В Эстонии было уже можно.

«Остров Крым» в перестроечных мозгах резонировал взрывчато. Объем в нашу скромную тетрадку не влезал. Я нашел телефон Аксенова через гарвардского профессора-слависта Боба Клеменса, занесенного в Эстонию новыми ветрами.

Я позвонил из редакции вечером, когда в Вашингтоне было утро. Какой-то час – и телефонистка соединила. Из другого мира донесся голос. Не знаю, чего я ждал, но простота обращения по контрасту со звездной легендой несколько ошеломляла. Аксенов дал легкое добро на три отрывка в трех номерах – по усмотрению журнала. Чуть недоверчиво благодарил.

– Верить ли, совершенно не помню, – удивлялся он несколько лет спустя. – И звонка твоего не помню.

– Ну как же, – уязвленно настаивал я.

– Тут столько всего понеслось, – перечислял он. – Границы открыли, друзья поехали, издатели стали звонить, о возвращении заговорили, Горбачев, Берлинская стена, Форос... Слушай – а ты мне эти журналы посылал?

– Нет, – признался я.

– Ну так тогда понятно, почему не помню, – оправдал себя он.

– Ты не представляешь, что это была за публикация! У нас тираж за три номера взлетел где-то с семи до тридцати тысяч. Народ собирал журналы и слал друзьям по стране. Кстати – это была первая публикация мата в советской печати!

– А у меня там разве есть мат?

– Ты серьезно? Нет – это не мат: это просто раскованный язык, не признающий цензуру. Если где-то надо ее не признать.

– Это другое дело. Ты не представляешь, как мы ненавидели цензуру.

– Я – не представляю?!

– Ты представляешь, – успокоил он.

– Я много лет задавался вопросом: твои написанные в Америке романы, мне чудилось, словно написаны по-американски русским языком. Все реалии могут быть русскими, русский язык блестящ, но система условностей и деталей такая, ментальность героев такая, будто это предназначено именно для американского читателя. For use outside only. Американской аудитории в переводе на американский язык. В их традиции.

– Конечно, – подтвердил он невесело и спокойно. – Мы же там были уверены, что это никогда не будет напечатано в Союзе... в России. Билет был в один конец.

12

– За что это ты усатого любишь? – с отчуждением спросил Аксенов, глядя мимо.

Я отрекся от вождя раньше, чем петух успел бы открыть клюв. Я спросил, с чего такой вывод? Я отверг напраслину мимикой и жестом.

– А на «Эхе Москвы» ты же защищал Сталина где-то на прошлой неделе.

– Я?

– Конечно.

– Да нет. Я мог сказать «товарищ Сталин». Мог сказать об его воле и последовательности. О том, что жестокостью добивался результатов. Но вообще вот так чтоб хвалил – это невозможно.

– Я ж помню – именно вообще ты его хвалил.

Мы сидели компанией за столом у Генделева, накрытым обильно и изощренно, как всегда. Цветная батарея настоек разделяла стол, и Аксенов бурчал и пускал сигаретный дым.

Стали выяснять, какого числа я на радио поминал Сталина. Я восстановил фразы дословно. Аксенов помнил иначе. Общий разговор упал в сталинское русло и начинал терять приятную легкость.

Вовка Соловьев, самый технически продвинутый и активный из нас всех, под шумок достал телефон-компьютер-наладонник последней на тот момент модели и стал молча тыкать в кнопки стерженьком.

– Какого числа, говоришь, ты был на «Эхе»? – уточнил он. И через минуту озвучил соответствующее место по распечатке передачи на сайте канала.

Я был прав. Я не любил Сталина. Аксенов побурчал веселее, настроение шло вверх, как трос за взмывающим шаром. Ненавидимый им Сталин исчезал внизу.

Генделев раздал всем коллекцию своих котелков, мы уселись группой в кадре и стали фотографироваться.

13

Скандал приключился изрядный, как выразились бы веком ранее. Председатель жюри Василий Аксенов отказался вручать премию победителю и демонстративно покинул церемонию. «Русский Букер» 2005 удался на редкость. Спонсор премии, основанный Ходорковским фонд «Открытая Россия», финансирование прекратил по ряду деликатных обстоятельств.

Аксенов пребывал в большом раздражении.

– С этими четырьмя членами жюри совершенно невозможно было не то что договориться – вообще говорить нормально о том, что такое роман. У них какие-то свои представления о литературе, которых я вообще не понимаю. Вот они по каким-то своим причинам решили дать премию этому парню. За решительно слабую книгу. Это вообще не роман, если на то пошло. Я не знаю – сговор у них, какие-то свои планы, или что-то они имеют в виду, чего я не знаю. А если так – не хочу я в этом участвовать. Пусть тогда без меня сами все делают. На кой черт я тогда нужен.

– Был отличный роман Толи Наймана. Гениальный роман. На несколько голов выше остальных. Так они его буквально обсуждать отказывались. Что же я могу сделать? Нечего было звать.

– Я чувствую, не сложилось у меня с этой новой компанией. Не то они там какие-то деньги, копейки какие-то делят, не то какие-то свои отношения строят, поездки у них какие-то. Да не желаю я ничего этого знать даже.

В жюри входили Ермолин из Ярославля, Кононов из Петербурга, Марченко из Москвы и дирижер Владимир Спиваков. Они дали премию Гуцко.

Дополнительную пикантность истории придавал тот факт, что в предыдущем году «Букера» единогласно присудили Аксену за «Вольтерьянцев и вольтерьянок». В этом ощущалось некое композиционное изящество.

14

Мы гуляли с Аксеновым по Великой Китайской стене. Ничего фразы, аж во рту не помещается. Там рядом еще сотня уродов гуляла. Российская писательская делегация, два автобуса из Пекина привезли. И все гуляли. С ним и со всеми остальными.

На Пекинской книжной ярмарке русские писатели выступали в университете. Я этот парад талантов завершал, и подбил бабки «современной русской литературе», как и была означена тема. Пока все скучали в очереди на слово и рисовали узоры, я смастерил такой компакт-докладик с персоналиями и направлениями. Ничего примечательного.

Примечательным лично для меня явилось то, что когда вышли курить в университетский сад, Аксенов мне пожал руку и поздравил с выступлением, присовокупив эпитеты. Я скромно мекал, удивленно бекал и извивался от незначительности повода.

– Василий Павлович, – сказал я. – Я все понимаю, но все равно мне нужно делать над собой какое-то внутреннее усилие, чтоб говорить «Вася» и «ты».

– Не выеживайся, – сказал он. – Будь ты проще.

15

Если вы представите себе интеллигентного красавца-бандита, то получите представление о внешности мэра Казани Ильсура Метшина. Кумиром юности рокера Метшина был Андрей Макаревич, и ради дружбы с ним Метшин был готов еще раз организовать взятие Казани русскими. Таким образом, в осуществлении пира духа под названием «Аксенов-Фест» первичная и базовая заслуга принадлежит Макаревичу с Метшиным. Без музыки не имеет смысла: шестидесятник Аксенов любил джаз, а Макаревич джаз играет и руководит «Оркестром креольского танго».

Аксенову исполнилось 75, а Белле Ахмадулиной исполнилось 70 (Боже мой...), и в родной Казани решили устроить им праздник. По высшему разряду.



Анатолий Гладилин, Роберт Рождественский, Василий Аксенов – золотые шестидесятые.

Много народу Вася видеть не хотел. Он стал уставать. Поехали, кроме Ахмадулиной с Мессерером, Женя Попов, Саша Кабаков, Мишка Генделев и я. Само собой Макаревич. Из Парижа прилетел Толя Гладилин. Потом из Питера подъехал еще Алексей Козлов, легенда, «козел на саксе».

Спальный вагон фирменного экспресса был обит голубым плюшем, окружавшим зеркала в форме сердец, и походил на генеральский бордель. Мудрый и обстоятельный Макаревич достал холодную вареную курицу, крутые яйца, краковскую колбасу, черный хлеб, соль в спичечном коробке и помидоры. Ну и ее, родимую. Народ бросил ресторан и побежал к нему в купе, умильно подстанывая от запаха. Ностальгический классический вагонный припас был как материализация молодости, приличного достатка и СССР. Аксенов ехал в город своего детства.

На перроне встречали человека по два на гостя. Потолки в гостинице были метра четыре. В номере можно было играть в футбол. Гигантские окна, зеленый бархат, фрукты на столике и кровать гаремного размера.

Телевидение работало на нас. В книжных магазинах висели плакаты с расписанием встреч. Эксклюзивные кормушки накрыли ханские столы. Сиживали мы за столами, сиживали, но это нельзя было съесть, от силы надкусить.

– По-моему, я обедаю сегодня в пятый раз, – задыхаясь, проговорил Генделев. Все координационные увязки он взял на себя, и увязал так, что палец было некуда просунуть.

Актный зал университета был битком, Аксенов сидел в центре президиума, нерешительные вначале вопросы стали сыпаться лавиной, и мы из кожи вон лезли, подавая студиозусам товар лицом: что имеем – все и открываем.

Шлейф журналистов ловил каждое слово Аксенова, а фотошники фиксировали каждое его движение. Было положено начало музею Аксенова. Ребята, это было что-то с чем-то. Мы признавались друг другу, что уровень беспрецедентен.

Президент Шаймиев дал полуденный прием в резиденции. Семь человек правительства сидели напротив семи писателей. Чай не пили, пирожных не ели, правительство рта не раскрывало, – президент Шаймиев, старый лис, непринужденно и компетентно беседовал с русскими писателями об их книгах. Часа два. С коллективной фотографией.

Билеты на вечер в главный оперно-драматический театр были распроданы давно. Мы выходили на сцену в честь Аксенова: читали его прозу, вспоминали его жизнь и говорили про то, что он есть для нас всех. Потом Макар щелкнул пальцами и задал темп своим креолам, потом Козлов подул в сакс, потом Аксенова вытащили под овацию танцевать на сцене, он вел партнершу изящно, стильно, в ритме, было просто удивительно, как пластично он движется, щурится, усмехается в усы.

В семьдесят пять лет, спустя жизнь после детства, огромную, пеструю и славную жизнь, «в России надо жить долго», он вернулся в свой город королем, и был принят по-королевски, триумфально, выше не бывает.

Как жаль, что вас не было с нами, да?

– Ведь скоро уже, – сказал он о смерти журналистке в Москве и повел плечом. – И не страшно это, просто – непостижимо.

Евгений Евтушенко
Ясное дело: поэт в России – больше, чем поэт

Первомай 1961-го на Красной площади.



В Белом доме президент США Ричард Никсон и госсекретарь Генри Киссинджер принимают самого знаменитого поэта того времени Евгения Евтушенко.

Михаил Веллер. В далекие шестидесятые на картошке мы, первокурсники Ленинградского университета, пели этакую песенку городского фольклора:

По ночной Москве идет девчонка,
каблуками цок-цок-цок,
а навстречу ей идет сторонкой
незнакомый паренек.

И дальше следует сцена уличного знакомства, завязывание разговора:

Он ей говорит: «Каких поэтов
вы любите читать стихи?»
А она ему в ответ на это:
«Евтушенко – мой дружок».

Вот насколько вы были в славе и на слуху. Четкая семантическая пара: фрукт – яблоко, лайнер – серебристый, поэт – Пушкин, современный поэт – Евтушенко.

Ни в коем случае никого не хочу принижать, гремели имена поколения, были гениальные поэты, – но Евтушенко звучал номером первым.

Скажите, каково это – чувствовать себя поэтом, прославленным в стране, как, в общем, при жизни ни один до вас? Я ведь помню вашу фразу о завистниках уже девяностых годов к шестидесятиникам: «Это зависть уксуса к шампанскому!»

Евгений Евтушенко. Вы знаете, Миша, можно воспринять мои слова, конечно, как лицемерие или кокетство, но даю вам честное слово, вот как на духу, – не до того мне. Да некогда думать о дребедени, блеске или чем там еще, настолько я делаю себя занятым человеком, набиваю свой день до отказа другими делами, нужными, совершенно разными вещами. Я хорошо сплю без снотворного, потому что я всегда отрабатываю весь свой день до конца, – не отрабатываю, а живу этот день до конца, проживаю его, любой! Так что мне некогда рассуждать там о собственной славе, недостаточной или сверхдостаточной и так далее.

Но безусловно, когда я слышу, что вот все-таки поэтам, или иным прославленным людям, таким талантливым людям, как вы, простительно то или другое, – я всегда категорически против этого. Мне очень не нравится поведение некоторых наших попсовых временных звезд, когда они хвастаются, показывают свои перстни, рассказывают, кто им подарил машины, строят себе какие-то дворцы. Понимаете, мне это глубоко чуждо. Они вообще считают, что им позволено что-то другое, нежели всем. Их ведь даже милиционеры останавливают подобострастно-уважительно: как же, знаменитый человек. А в этот момент – это человек, нарушивший закон, и все тут! А он убежден, что ему-то можно.

Человек не должен сам себе давать какие-то привилегии. Если даже общество невольно, из уважения, ему их предоставляет – он должен их свести до минимума. Вот я так считаю.

И так себя веду, и так живу. У меня просто нет времени рассуждать о собственной знаменитости. Я знаю, сколько у меня еще работы. Мне нужно, если по-честному, 20 лет прожить еще, чтобы написать и сделать все, что я задумал. Минимум. А потом уж я не знаю: мне Бог поможет, услышит мои молитвы?.. На которые у меня тоже, между прочим, не бывает времени. И знаете, если бы отпущенные будущие 19 лет уже прошли – так я бы еще поторговался, может быть!..

М.В. Наверное, в таких случаях надо брать с запасом.

В «Юности» года 57-го была подборка ваших стихов, после которой Евтушенко стал фигурой знаковой. Как было принято, публикация с фотографией автора, так фотографий

таких тоже раньше в советской прессе не было. Потому что двадцатипятилетний поэт красовался в «стиляжьем», пышном шейном платке (слово «фуляр» никто еще, в общем, не знал). И страна прочитала мгновенно ставшее знаменитым «Ты спрашивала шепотом: «А что потом, а что потом». Постель была расстелена, и ты была растеряна». Стихи эти всех тогда ошарашили. К этому мы не привыкли. Учитывая те времена – и что же, вам за это ничего не было? Или строго ставили на вид за недостаточно высокую мораль?

Е.Е. Вы понимаете, когда меня упрекали там в чем-то, нападали на меня люди неталантливые или просто забюрократизированные, ведь дубовые просто встречаются люди, которых ничем вообще не прошибешь, – я это вообще-то игнорировал. Но бывало, знаете, что и хорошие критики, люди, которых я уважал за их знание и понимание поэзии, вот тоже иногда считали это вызывающим. Потому что это вслух в поэзии говорилось в первый раз. Не привыкли.

Вот, например, у меня было такое стихотворение, от которого я и сейчас не только не отказываюсь – я его перепечатаваю все время, да и с огромным удовольствием читаю. И продолжаю испытывать то же самое чувство, что было в нем. Это был 54-й год, когда я написал такое стихотворение:

Я разный – я натруженный и праздный.
Я целе– и нецелесообразный.
Я весь несовместимый, неудобный,
Застенчивый и наглый, злой и добрый.
Я так люблю, чтоб всё перемежалось!
И столько всякого во мне перемешалось:
От запада и до востока...
Границы мне мешают...

и вот дальше шло уже совсем просто тогда звучавшее страшно, во времена, когда главным героем был пограничник Карацупа:

Границы мне мешают... Мне неловко
Не знать Буэнос-Айреса, Нью-Йорка.
Хочу шататься, сколько надо, Лондоном,
Со всеми говорить – пускай на ломаном.
Мальчишкой, на автобусе повисшим,
Хочу проехать утренним Парижем!

Понимаете, у нашего детства, отрочества, – у нас украли вообще все остальное, что есть на земном шаре. Всё это было за железным занавесом. И во мне осталась эта жадность к познанию мира – которая никогда не противоречила такой же жадности во мне к познанию собственной страны, они соединялись воедино. Я всегда смотрел на вещи так: когда шар земной возник, на нем не было никаких границ. Это высшим замыслом Творца не было предусмотрено. Практически все границы являются шрамами от каких-то войн, чаще всего бессмысленных, и всегда жестоких. Потому что даже справедливые войны, к сожалению, бывают жестоки. И у меня было какое-то чувство неестественности, что за этими «границами» у нас все отобрано.

Я это компенсировал книжками. Мне даже врачи одно время запрещали читать. Честно скажу, иногда начинала болеть голова. На шесть месяцев запретили читать книжки.

Меня не пускали за границу – но к 14-ти годам я прочел в основном всю переведенную западную классику. И не за счет незнания русской классики. Я очень много читал. Я страшным остаюсь книгоцеем до сих пор.

Я когда попал за границу и стал ее для себя открывать – мне все время казалось, что я уже здесь был. Потому что человек узнает душу стран через их книги, через классику. Книги – это тоже общение с мировой культурой.

Больше всего на свете я ненавидел всю жизнь, это было мучительное чувство, – что я не могу поехать. Вот если захочу – поехать. Не только я, а вообще все не могут поехать – в тот же самый Париж и куда угодно.

И с самого начала, когда мне первый раз удалось пересечь границу, я постоянно стал выступать против выездных комиссий. Слава Богу – добился: их нет! Я недавно был на встрече в одной школе, и не в блатной, а в нормальной, говорил с ребятами, и задаю такой вопрос: «Скажите, дети, а что такое выездная комиссия?» А у них уже кто-то в этой обычной школе был в Болгарии, Турции, Дании. Для них уже это не существует! Вдруг встает одна девочка и говорит: «Евгений Александрович, выездная комиссия – это, наверное, та комиссия, которая все время куда-то выезжает».

Мое поколение, которое пробивало железный занавес, прямо обдираясь об эти ржавые заусенцы, за эти дыры, мы пробивали их своими телами, – мы делали это не только для себя, но для всех, для этих вот ребят.

В моем романе «Ягодные места», в самом начале, есть слова: «...и настанет такое время, когда, просыпаясь однажды, какой-нибудь русский слесарь где-то в Сибири скажет: ну что, Машутка (или как там, я не помню, он назвал свою жену) – куда мы щас рванем: на Канары или тут поблизости в Китай слетаем?». Понимаете? И мне тогда Юра Нагибин, который рецензировал эту рукопись для «Советского писателя», говорил: «Жень, знаешь, у меня даже слезы закапали». Я говорю: «У тебя – слезы?» Честно говоря, я не представлял его плачущего. (Хотя потом видел несколько раз плачущим.) Я говорю: «Почему ты заплакал?» «А потому, какой ты счастливый. Ты – идеалист, ты веришь, что это будет возможно когда-нибудь в нашей стране».

А вот – получилось. Сейчас, при всех недостатках и ужасах нашей жизни, от которых болит душа, мы часто не замечаем, какой все-таки путь прошли вперед. И не помним, какой вклад внесло поколение шестидесятников. Я горжусь, что принадлежу к этому поколению.

М.В. Вашему поколению выпало скудное тяжелое детство и бедная нелегкая юность. И позднее некоторым из вас – талантливым, упорным, работающим, энергичным – это было компенсировано. И судьбой выпало, и самими протаранено, и карта была сдана: возможность полностью реализовать себя, делать свое, и – слава. Удача, деньги. Вы все – дети оттепели. В каком году впервые Евгения Евтушенко, знаменитого и молодого поэта со станции Зима, выпустили из Советского Союза, из-за железного занавеса, за границу?

Е.Е. Вообще существовало такое выражение – «поколение оттепели». Не сочтите за самомнение, я говорю не только о себе. Сейчас почти никого из наших писателей не осталось. Такие замечательные люди, талантливые. Я говорю сейчас за них всех.

Мы (я говорю уже «мы») – мы были не результатом оттепели или детьми ее, а мы ее выдышали своими молодыми голосами. И мы не были детьми XX съезда, потому что стихотворение, которое я вам сейчас читал: «Границы мне мешают, мне неловко не знать Буэнос-Айреса, Нью-Йорка» – я написал до XX съезда за два года. И моя поэма «Зима» – я начал писать ее сразу в 53-м году, после того, как съездил на станцию «Зима», а напечатал в 54-м году. Выпала карта, не выпала карта, – а мы эту карту сами нарисовали, своими руками.

М.В. Однако то, что было возможно в 60-м, было невозможно в 50-м или в 40-м, – и уже в 80-м тоже стало невозможно. Да, делать все приходится самим. Но возможности для делания идут по времени такой волнообразной кривой. А я спросил только: когда впервые вас выпустили за то, что тогда еще было «железным занавесом»?

Е.Е. Сначала я расскажу, как меня не выпускали. Потому что это было страшно оскорбительно, разумеется.

В 60-м году проходила Олимпиада в Риме. У меня была уже туда путевка. Я купил ее. И меня просто ссадили с поезда. Я уже сел в вагон (мы ехали поездом туда). Со мной в купе был один грузин – тяжелоатлет. И вдруг раздается: «Товарищ Евтушенко, просим вас подойти к начальнику вокзала».

Сосед говорит: «Слушай, не вылезай, тебя сейчас ссадят». Я говорю: «Как ссадят? Я же платил свои деньги за эту путевку, мне никто ее не дарил». – «Вот ссадят, меня тоже однажды ссаживали, а я не ссадился, я спрятался, и вот так я первый раз попал за границу. Так что давай сейчас спрячься где-нибудь, не выходи».

Я захожу на станцию, и мне говорят: «Товарищ Евтушенко, там у нас эстафета. Вы же очень любите спорт, Женечка дорогой, мы же знаем, что вы в «Советском спорте» начинали! Вы любите спорт, и футбол, и вообще все время печатаетесь там. Вы это поймете правильно! Нам нужны сейчас запасные для эстафеты. Господи. Там кто-то заболел, ну вот нам нужно сейчас срочно отправлять другого, времени уже нет, соревнования на носу».

Я говорю: «А как же я?» – «В следующий раз поедете!» Я говорю: «Скажите, а вещи?» В этот момент входят двое, и мой чемоданчик скромненький ставят мне.

Вот так это было. Было несколько раз, когда меня снимали в последний момент. Это было ужасно.

М.В. Простите, Женя, это происходило в Москве или в Бресте?

Е.Е. В Москве.

М.В. Несмотря на то, что у вас была виза, путевка, билет, и никаких преступлений...

Е.Е. И с самолета снимали!..

М.В. Буквально понять не могу: у вас был заграничный паспорт, у вас была открытая виза выездная и въездная.

Е.Е. Миша-Миша-Миша. Сейчас мы уже все привыкли, что заграничные паспорта нам выдают сейчас, и они у нас на руках, правильно? А тогда не было этого. Заграничные паспорта у нас отбирали.

М.В. Но перед поездкой-то выдавали?

Е.Е. А перед поездкой выдавали, да. Он был выписан, но его потом отбирали.

М.В. Потом – да! Я имею в виду, что, когда вас снимали с поезда, у вас были визы в заграничном паспорте...

Е.Е. Конечно, все что полагалось.

М.В. Поразительно!

Е.Е. Конечно, и это было несколько раз! Это было чудовищно! И с самолета...

М.В. Послушайте, но, разумеется, это нельзя списывать на те глупые предлоги, как будто бы...

Е.Е. Я хочу рассказать, как все было кончено по отношению ко мне...

М.В. А почему это могло быть? Кому вы наступили на хвост? Кто был против, и кто ставил палки в колеса?

Е.Е. Уж не знаю. Я ведь никогда не был антисоветским человеком. Я всегда был социалист-идеалист. Просто мы исказили социалистические идеи, и у нас было какое-то другое общество под псевдонимом социализм. Ну, такой феодализм, я бы сказал. А при Сталине так это вообще был просто имперский феодализм.

Как это со мной произошло? В последний раз, когда меня с самолета сняли куда-то, я пришел к Степану Петровичу Щипачеву. Он был очень хороший человек, пусть небольшой поэт. Вот проходят годы, а все равно всё-таки неплохо: «Любовь не вздохи... Всё будет: слякоть и пороша. Ведь вместе надо жизнь прожить. Любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко сложить...» Знаете, мне это нравится. Это очень искренне, душевно, по-русски. Как фольклор.

Я к нему пришел, его выбрали у нас (слава Богу) председателем Московской писательской организации. Прямо вот когда меня сняли, пришел к нему и говорю: «Степан Петрович, что такое происходит, в чем я виноват? В чем меня подозревают? Что я – шпион, что ли, какой-то, или обладаю какими-то секретными знаниями, так сказать? Почему меня так оскорбляют? Это моя страна!»

Вы знаете, я вытащил какой документ? У меня хранился дорогой просто документ: справка о том, что выпускник первого класса Москвы Женя Евтушенко дежурил при бомбежках на крыше своей школы. Я достал эту выцветшую справку на тетрадном листе со школьной печатью и показал ему. Говорю: «Вот смотрите, я тоже защищал свою Родину! Как мог, конечно. Я был маленький тогда, мне было девять лет, но я стоял там с лопаточкой, с песочком, мы тушили этим зажигалки немецкие». А у него в глазах слезы стоят. Он посмотрел на меня и сказал: «Боже мой, что они делают с нашими людьми! Сидите здесь и никуда не уходите!»

И он встал и вышел. Я его ждал часа два. Потом мне рассказала его секретарша, что он не взял свою машину, а пошагал. Он решил прийти в себя. Пешком прошел от Дома литераторов, где располагалась Московская писательская организация, до Московского Комитета партии.

В это время в МК партии пришел новый секретарь, Петр Нилович Демичев. Между прочим, Щипачев мне не рассказывал, о чем там они говорили. Это мне рассказал Петр Нилович Демичев, член Политбюро, на похоронах Щипачева спустя много лет.

Так что Степан Петрович Щипачев отправился к нему не для того, чтобы показать молодым писателям, как он о них печется. Он зашел к Демичеву и положил ему на стол партбилет, который был выписан в 1918-м году – когда крестьянский парень с Урала Степан Щипачев вступил в Красную армию, и после боя был принят в партию. Он был одним из тех, кто не для карьеры вступали, а потому что верили в революцию. Он был хороший человек, очень хороший...

Он вернулся и сказал только: «Идите завтра в Московский комитет партии, вам предложат на ваш выбор любую поездку». Вот так это произошло.

Я пришел, и мне дали список загранпоездок на разворот папки. И вы знаете, что я сказал? «А какая побыстрее?»

И первая поездка была в Болгарию. Я сразу взял билет на поезд и поехал в Болгарию. И представьте – это была страна, где меня впервые перевели на иностранный язык! Меня уже ждали, вы знаете этих людей... И ждал уже меня Любомир Левчев, совсем еще молодой, а сегодня – это признанный классик. Это был 60-й год...

И вы думаете, что потом меня всюду всегда пускали? Да ничего подобного.

Ну, например, у меня был запланирован вечер в Мэдисон-Сквер-Гарден. В Мэдисон-Сквер-Гарден никогда за всю историю этого гигантского стадиона, он ведь с наши Лужники, не выступал ни один поэт. Тот вечер поэзии так и остался единственным – 72-й год. И вдруг меня вызывает к себе Поликарпов и говорит: «Слушай, тут такие изменения, что тебе не надо туда ехать, в Америку». Вот «есть такое мнение» – без всяких объяснений. Я говорю: «А почему?» – «Ну потому что, перестань, ты все время и так ездешь. Нет, ты, конечно, парень хороший, но слишком добрый». А я говорю: «А что, за доброту не пускают, что ли?» – «А сколько ты в последнее время подписал писем в защиту всяких диссидентов там, и т.д. и т.д.? Вон – список какой у тебя послужной! Ты все-таки думай, когда подписываешь, о себе!» Я говорю: «Почему я должен о себе думать, Дмитрий Алексеевич? Я ведь подписываю о других людях».

Поликарпов меня, кстати, пытался исключить из Литературного института, когда я там учился. А потом он занимал пост заведующего культурой, завсектором ЦК. Он был мастодонт. Имел свои убеждения. Мне его было безумно жалко, потому что вот что-то в нем было... Рассказывали, что он работал во время войны председателем Радиокomiteта и буквально не выходил оттуда. Он проводил огромную работу во время войны.

Про него ходил анекдот, на самом деле передававший подлинную историю. Его назначили секретарем Союза писателей в одно время. Он поработал немножко – и написал письмо Сталину. С просьбой дать ему другую работу. Потому что писатели – это сплошные, так сказать, полуантисоветчики, моральные разложенцы, анекдотчики и т.д. и т.д. (Я, кстати, потом его спросил во время долгих разговоров: так это правда или нет? Он сказал: «Ну, в общем, почти».) И Сталин ответил ему так: «У меня для вас, товарищ Поликарпов, других писателей нет».

И вот мне пора ехать в Америку, а он говорит – нельзя. Ко мне было очень такое двойственное отношение в верхах Партии. С одной стороны – Хрущев выступал против меня, и в то же время – со слезами пел песню «Хотят ли русские войны». Брежнев читал на память мои стихи, читал. Клавдия Шульженко мне это сама рассказывала.

Или приезжает в Москву Хонеккер – и на меня ябедничают в ЦК гэдээровские власти. Потому что когда меня спрашивали, что я думаю о будущем Германии, я сказал: «Как что? Германия будет воссоединена. Иначе быть не может! Потому что будущее поколение немцев не должно отвечать за преступления гитлеровцев, так же как мои дети или внуки не должны отвечать за преступления Сталина».

Что вы удивляетесь, разве я что-то нелогичное сказал, Миша?

М.В. Не, в те времена от этого у Хрущева могла лысина дыбом встать.

Е.Е. Вальтер Ульбрихт звонил насчет меня Хрущеву – это мне сам Хрущев рассказывал. Ульбрихт ему звонил, когда я поехал в первый раз в ФРГ: «Евтушенко приехал в первый раз в Германию – почему он поехал сначала в ФРГ, а не в ГДР?» Хрущев спрашивает: «А вы что, приглашали его – и он отказался?» – «Нет, мы его не приглашали, потому что он будет подавать плохой пример». – «А какой плохой пример?» – «Ну, понимаете, он считает, что мир должен быть без границ» и т.д.

М.В. Женя, тогда уж невозможно не сказать несколько слов о громчайшем скандале эпохи – когда Евтушенко в Париже, вразрез традициям и правилам ВААПа, опубликовал свою биографию и получил за нее гонорар. Союз писателей подох от ревности и злости.

Е.Е. Чуть позднее я объясню это так подробно, как еще нигде не объяснялось.

Но сейчас я рассказываю о Мэдисон-Сквер-Гарден.

Все билеты проданы. Моя книжка выходила специально к этому времени. Я как раз только что приехал из Вьетнама. Я хотел честно, и я это сделал. Я хотел честно рассказать в Америке о войне во Вьетнаме. И я это сделал. Что было очень важно в тот момент.

Я видел во Вьетнаме поразительные события. Как, например (это совершенно не было кем-то подстроено!), я увидел убитого вьетнамского солдата, у которого в руках была книжка Хемингуэя «Старик и море» (или что-то иное, я уж не помню точно сейчас). Вот это меня совершенно потрясло. И я это рассказал, и еще многое.

И вдруг мне объявляют, что я не лечу! Представляете, сколько людей работало, чтобы в Америке заполнить зал, подготовить выступление – 15 тысяч билетов там было продано!

М.В. Ни один поэт, кроме вас, с тех пор этот зал не поднял.

Е.Е. Нет-нет. Ни один. Ни до меня, ни потом. А мои стихи... тогда я еще по-английски не читал. Я читал только по-русски, а мои переводы читали лучшие американские поэты.

М.В. Я помню вашу фотосессию в журнале «Америка» с того выступления, где было кадров шесть: вы с жестиком читаете «Между городом Да и городом Нет». И писалось, что такого чтения в Америке не слышали.



Стихи вышли на эстраду. Михаил Светлов, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко.

Е.Е. А по-английски эти же стихи читал Ален Гинзберг, с которым некоторые американские поэты даже стоять рядом отказывались. Я тогда медленно говорил по-английски.

Вообще мне многие люди помогали, очень много было хороших помощников. Среди них, кстати, и Шахназаров – отец нынешнего режиссера и директора студии Карена Шахназарова. Эти люди старались сделать всё возможное, чтобы не растаптывали интеллигенцию. Они меня выручали столько раз! И Вознесенского, и очень многих еще. Театр Любимова выручали. Поверьте мне, эти люди старались буквально быть буфером между молотом и наковальней.

И сам Брежнев тоже ведь был человек, как вам сказать, неоднозначный. Конечно, на его совести осталась (я его совсем не идеализирую) страшная вещь. Для меня, как социалиста-идеалиста, самым страшным днем в жизни был тот августовский, когда наши танки перешли границу братской Чехословакии. Перешли под вымышленным предлогом, якобы мы там спасаем каких-то угнетенных верных коммунистов. У меня там, кстати, один из танкистов был друг, одноклассник из моей школы. Он застрелился, когда случайно раздавил девочку. Случайно, потому что из танка же видимость ограниченная. Они окружили его танк цветами, ироническая такая сцена, издевательская ситуация, – а у него приказ продолжать движение, не останавливаться. Он и двинулся, и девочка попала под гусеницы. Он вылез из башни и пустил себе пулю в висок.

Вот видите, как все переплетается. Хочешь шутить, а в жизнь вторгается трагедия. Жаль, что у нас фильм «Коля» не показывали, который сделали чехи. Это замечательный фильм, сделанный молодым режиссером Свереком и его отцом. После него заметно улучшилось отношение чехов к русским людям. Я стихи об этом написал, они вошли в мою книгу «Можно всё еще спасти».

Так вот, возвращаясь к той поездке в Америку, где уже был снят Мэдисон-Сквер-Гарден и куда меня Поликарпов не пустил. Знаете что – я позвонил помощникам Брежнева.

Я сидел в Доме литераторов.

Я водку не пью. Перестал пить в 19 лет. Я ее пил с 12 лет. Когда еще работал в войну на заводе, который выпускал гранаты. Холод, Сибирь. Выпить давали даже детям – чтобы не замерзали. И в 19 лет я водку пить перестал.

Но все-таки тогда я заказал себе водки... Вообще, когда плохо совсем, это нельзя делать. Я вот дожил до 80-ти лет и хочу сказать: пить можно только тогда, когда у вас хорошее настроение. Потому что выпивка увеличивает уже имеющееся у вас состояние: депрессии либо радости. Не побрезгуйте моим советом, что называется.

Вот я так сидел, заказав себе водки, и пил ее, и у меня текли слезы. Подходили люди, хорошие люди, официантки особенно, и видели, как я плакал. Потому что, представляете, сорвали все, поездку, выступление, наших друзей американских подвели – вдруг сказали в последний миг, что ничего не будет. И сказал мне это лично заведующий отделом ЦК КПСС. Всё!..

А я после разговора с ним еще позвонил помощнику Брежнева. Шахназаров им тогда был.

А сейчас в ЦДЛ я сижу вот так, люди подходят...

И вдруг!.. Вы знаете, где там у нас стоит в фойе ЦДЛ на стойке телефон? Бежит оттуда с вытаращенными глазами дежурная: «Женечка, вас Брежнев к телефону спрашивает!» Трясло ее просто, потрясение!

Я подошел. Там – Брежнев. Ну, я и говорю все как есть. «Евгений Александрович, там что-то наши бюрократы недодумали, или не знаю, о чем они вообще думали. Мне уже доложили. Да. Успокойтесь, ради Бога. Поезжайте вы в эту вашу Америку». И я на радостях еще ему вопросы задаю всякие.

А я никогда не был с ним знаком – это в первый раз разговор. Я никогда не ходил к нему на прием или что-нибудь в таком роде. Я его видел только однажды на каком-то большом приеме, это было при Хрущеве, – он был председателем Президиума тогда. И он еще с шуточкой ко мне обратился: «А я вот сейчас пойду, Евгений Александрович, открывать бал со Снегурочкой. У нас же в Политбюро только я танцую вальс. Вот за это меня и держат. А ваши стихи «Любимая, спи» всегда читаю своим друзьям и знакомым».

Вот вам пожалуйста. Вот как всё сложно. И как жалко, что такой в принципе не злой – добрый человек совершил все-таки такие вещи, как Афган, Чехословакия и т.д. Это ведь нельзя отменить – это история. И нельзя замалчивать. А то сейчас часто изображают Брежнева только с хорошей стороны. Да, в нем были и хорошие качества, согласен, но были и ошибки, которые не прощаются. Он был руководителем нашей страны – и позволил, чтобы происходили эти совершенно чудовищные диссидентские процессы, которые подорвали престиж нашей страны во всем мире.

М.В. И вот в этих советских условиях – как же смог молодой советский поэт Евгений Евтушенко опубликовать в Париже свою «Автобиографию» – без спроса и без цензуры! – и остаться не диссидентом, невозвращенцем, антисоветчиком и врагом народа?

Е.Е. Очень просто. Я поехал сначала ни в какой ни в Париж. Я поехал просто в Германию. Вот как раз в ФРГ я тогда и сделал это заявление о неизбежном объединении немцев, когда меня спросили о будущем Германии. (Это когда потом Вальтер Ульбрихт звонил Хрущеву жаловаться на меня.) А когда меня спросили, когда же произойдет это объединение, я сказал: прежде чем мой старший сын женится. И как я сказал – так всё и получилось. Я сказал – в этом веке, и так произошло объединение в конце XX века.

Много лет спустя, уже на пенсии, Никита Сергеевич сам мне рассказывал про тот разговор с Ульбрихтом по телефону. Сколько я ему хлопот, оказывается, доставлял. Позвонил Вальтер, сказал, что я срываю германскую политику. Их главная идея – найдена альтернатива капитализму, и, конечно, политически и идеологически передовая ГДР в этой борьбе систем победит Западную Германию. А Хрущев сказал: «Товарищи, ну что я могу с ним сделать, с

Евтушенко? Ну что мне, в Сибирь его послать? Так он оттуда родом, и еще перезаразит всю Сибирь!» Вот так остроумно ответил.

Тогда-то Хрущев меня и пригласил на празднование Нового года. После того как я выступил против него. Вот это очень важно! Потому что, когда я выступил в защиту Эрнста Неизвестного и других художников, то оказался, в общем, единственным.

Меня тогда, к сожалению, Илья Григорьевич Эренбург оборвал. Вот этого он не должен был делать.

М.В. Странно, что Эренбург так поступил.

Е.Е. Илья Григорьевич меня недолюбливал.

М.В. За что?

Е.Е. А потому что он тоже был поэтом.

М.В. Но поэт он был все-таки скромный.

Е.Е. Но все-таки он был поэт. И моя фигура совершенно отличалась от той поэзии, которую он писал. Поэзию наше поколение вынесло на площади, на стадионы. Кстати, Эренбург все-таки принял участие в одном из этих лужниковских выступлений, уже незадолго перед смертью.

Когда меня в тот раз оборвали, я рассказывал Хрущеву историю о том, как на Кубе погибли два художника. Один был абстракционист, другой – реалист. Но оба они погибли за революцию. Я сказал тогда Никите Сергеевичу: «Никита Сергеевич, ведь стиль художественный еще не означает идеологию, поэтому нельзя обвинять за стиль. Вот Пикассо, скажем, у него есть и абстрактные произведения, и многие другие, – он тоже и абстракционист, и кубист, и все что угодно...» И в это время Илья Григорьевич по-снобистски меня оборвал. Вот не должен он был все-таки этого делать.

М.В. Странно, он был так снисходителен к современному искусству.

Е.Е. «Евгений Александрович, ну какой же Пикассо абстракционист, ну, у него были модернистские вещи, кубистские, но это не означает, что он был абстракционист». В общем-то Эренбург был прав, конечно. Но мне Хрущева было важно убедить, что эти ребята, художники, в том числе и очень известные, никакие не враги и не идеологически чуждые. Я говорил о том, какие подвиги Эрнст Неизвестный совершал во время Великой Отечественной войны.

И тут произошло следующее. Очень важное для понимания того, что же случилось с моей «Автобиографией». Когда я сказал: Никита Сергеевич, пожалуйста, не надо, зачем вы талантливыми людьми расшвыриваетесь, – Хрущев стал кричать на Неизвестного. Помню, когда он кричал: «Забирайте ваш паспорт, убирайтесь вон из нашей страны!» – я сидел рядом с Эриком, между ним и Фурцевой, и Фурцева, прикрыв колени Неизвестного и свои краем скатерти, гладила его по коленке, успокаивая. Какой любопытный эпизод! «Ради Бога, не нервничайте, ради Бога, все пройдет, все пройдет!» – вот так она ему шептала, как будто снова стала фабричной работницей.

Никита Сергеевич кричал, и я ему сказал: «Может быть, разберетесь, если есть какие-то вопросы, ведь можно же выяснить по-мужски. Человек подумает, возможно, примет что-нибудь из ваших высказываний, исправится».

Я вообще мирный человек. Не люблю озлобленных драк. Мне это отвратительно с детства. Я никогда в них не участвовал. Ничего хорошего в этих драках, во взаимном озлоблении нет. Какая-то мстительность появляется в людях. И до сих пор я не участвую ни в каких таких политических потасовках. У меня есть мои взгляды – я их защищаю. Если людей других обижают – я их защищаю. Я за то, чтобы все имели право высказывать свою точку зрения. Но участвовать самому в таких озлобленных сварах, когда бог знает что говорят и с той и с другой стороны, – я никогда этим не занимался и не буду заниматься. Я занятой человек. Мне много еще нужно написать.

И в этот момент он меня так понес, и стукнул кулаком: «Горбатого могила исправит!» Я хотел стихи прочитать, а композиционно почувствовал – это конец, всё, ничего я не буду говорить. Тогда я тоже стукнул кулаком, на что все раскрыли глаза, чуть у них не выскочили глаза из орбит. И я ему сказал: «Никита Сергеевич, прошли те времена, когда людей исправляли могилы. И надеюсь, Никита Сергеевич, что навсегда!»

И вот тут начался вой! Только что все выли Неизвестному: «Вон его, вон его, вон его!» Особенно выл, к сожалению, тот человек, стихи которого я читал в школе наизусть и до сих пор их помню, очень хорошие детские стихи, – Сергей Владимирович Михалков. А вот он кричал: «Вон!» – Неизвестному. А потом переключился на меня. Это я хорошо помню.

И в этот момент Хрущев встал и посмотрел на них, и знаете что? У него в глазах было, как Эрик тогда заметил, что-то паханское. Был какой-то паханский жест, когда поднятой ладонью что-то прижимают и останавливают. И вдруг он обернулся ко мне, потому что понял мою подачу ему, – когда я сказал, что надеюсь, что такие времена, когда исправляли могилами, прошли и, надеюсь, навсегда, – там же была подача. И он понял это.

И он вдруг повернулся ко мне – и не то что бурно, но раза три медленно, как в замедленной съемке, сдвинул ладоши: заплодировал. Сразу же оттуда, из бархатных портьер, ко мне кинулся Сергей Владимирович обнимать: «Женечка, ты знаешь, как я тебя всегда любил, какой ты замечательный поэт, приходи – решим все вопросы». Вот так я это все помню.



Евтушенко и Эрнст Неизвестный на правительственном приеме.

Вдруг ко мне подходит помощник Хрущева и говорит: «Евгений Александрович, вот там бумаги ваши задержали, в Германию вы должны ехать. Так вот, я сейчас Никите Сергеевичу доложил, сейчас хороший момент был». (Это был тот самый помощник, который когда-то ему подложил вовремя мое стихотворение «Наследники Сталина».) И он мне говорит: «К вам сейчас подойдет Никита Сергеевич, только вы, ради Бога, не скажите ему что-нибудь бестактное,

вы опять на него не нападайте». Я говорю: «Так я ж не нападаю, я просто спорил с ним. Просто хотел его переубедить». А он: «Вы уж ведите себя». Я ему: «Ну что вы!»

Подходит Никита Сергеевич. Вот как раз, когда Брежнев мне сказал фразу, что «за то, что я хорошо танцую вальс, меня держат президентом». Подходит Никита Сергеевич ко мне, к моему столу и говорит: «Вот это твоя вот жена, да?» – показывает на мою жену Галину Семеновну. «Да, – говорю, – это моя жена». Он здоровается, обнимает меня левой рукой и ведет туда в зал, где танцуют. И говорит мне полупрошептом: «Слушай, всё – ты поедешь в Германию, все в порядке. Ты учти, – ты улыбайся, улыбайся! – пусть они видят, что я тебя обнимаю. А то они тебя сожрут! Сожрут, и пуговицы будут выплевывать». Это он мне шепнул! Вы представляете или нет? Вот так сложна была история – вот Хрущев как человек. Так он меня проводил, и я поехал в Германию.

В Германии у меня неожиданно заболел зуб, раздуло флюс. А из Москвы телеграмма, из ВААП: «Немедленно напишите вашу биографию, по договору с ВААПом, к книжке стихов и пошлите ее прямо в Америку, потому что они из-за этого задерживают выпуск книжки». Они не думали, какую автобиографию я напишу и какого она будет размера. А выходить мне из отеля с моим флюсом было некуда, и я расвспоминался. За 4 дня я написал 100 страниц. И отправил прямо издателю в Америку, как в ВААПе и сказали.

А в Германию меня пригласил редактор журнала «Штерн» Генри Наннен. У него в войну жена была гитлеровцами уничтожена. Знаменитый либерал, масса премий в Германии. Он увидел, что я что-то царапаю. Он организовал замечательное выступление: лучшие актеры Германии читали мои стихи, великолепно всё было устроено. Тем более после войны. Это был первый приезд русского поэта, выступления проходили с огромным успехом.

Он увидел, что я что-то царапаю, и спрашивает: «Что это вы там пишете?» Я говорю: «Биографию свою пишу». «А вы не можете дать нам почитать?» Я говорю (я как раз почти закончил): «Почему бы нет». И дал. Они напечатали это в «Штерне». Потом прислали мне, написали, что очень благодарны, такая хорошая биография. Не то чтобы я кому-то показывал! Меня попросили – я сделал.

Я могу написать что-то против своей Родины, вообще-то? Вот вдумайтесь! Вы знаете, что я писал. Просто невозможно это представить, чтобы я написал что-то предательское! Я могу критиковать что-то для пользы дела, для блага народа, – но чтобы я написал что-то поносящее мою страну!.. А что писали они потом обо мне, что говорили!..

Когда Генри Наннен прочитал перевод моей «Автобиографии» на немецкий, он спрашивает: «Женя, скажите, а вы кому-нибудь из советского начальства это показывали?» Я говорю: «Где ж я мог показывать, когда я здесь нахожусь? А зачем это показывать?! – гордо сказал я. – У нас теперь свобода!» Вот тут я всегда был наивным. И до сих пор попадаюсь на удочку. Мне всегда хочется верить в хорошее, понимаете.

Но все-таки в последний момент Генри мне сказал: «Вы знаете, это может привести ваших в раздражение. Просто из-за того, что вы не спросили разрешения. Слушайте, я же жил в тоталитарном обществе». А он был большой друг Генриха Белля. Я отвечаю: «Как вы можете сравнивать ваше тоталитарное общество с нашим!»

Далее, посол Советского Союза в ФРГ прочитал и отреагировал. Наннену влетело от своих немецких коллег за эту публикацию. Кто-то стал жаловаться, что «Штерн» печатает в Западной Германии коммунистическую пропаганду. «Автобиографию» сразу купили во франкистской Испании – после чего издателя посадили в тюрьму! Вы слышите? В Испании человека, издавшего это на испанском, посадили за коммунистическую пропаганду!

В Париже это перепечатал центральный еженедельник «Экспресс». Я приехал в Париж по специальному приглашению. Там в это время люди, которые вышли из компартии во время венгерских событий, когда мы давили их восстание, теперь снова вступали в коммунистическую партию, прочитав, что я писал про СССР. Они увидели надежду в Советском Союзе. В

лице меня, понимаете? В мыслях, которые я высказывал, что всё исправится и Россия пойдет по демократическому пути.

Старый коммунист Жак Дюкло, лидер компартии Франции и сенатор, произнес речь об этом на огромном собрании коммунистов. Виноградов, посол Советского Союза, сказал на огромном приеме в мою честь, если бы это зависело от него, Евтушенко заслуживает звания Героя Советского Союза за его «Автобиографию».

Когда я возвращался в Россию, я, простите, думал, что меня будут с оркестром встречать. Ну, шутливо говоря. Что меня кто-то обнимет, что мне скажут спасибо и т.д.

И вдруг меня ждет машина, в ней Галя – моя жена, встречает меня. На ней нет лица, она сказала: «Там тебя ждет машина ЦК. Тебя ждет помощник Хрущева Владимир Семенович Лебедев. Он очень рассержен твоим поведением». Я говорю: «Каким поведением?» – «А это уж ты с ним говори». Ну, я поехал к нему.

А в это время я привез из Франции подарок – огромный подарок нашей стране – просьбу Шагала. Марк Шагал, когда меня принимал, сказал, что он хочет вернуться в Россию. Я ему сказал, это было уже после первых встреч с художником, что сейчас не те времена. «Если вы хотите это сделать, то нужно делать это позднее. Ведь ваших картин сейчас не выставят».

«Не важно, – он сказал, – я хочу умереть в Витебске. Я хочу отдать все картины, принадлежащие мне, а их довольно много, в дар России. Пусть мне дадут маленький дом за них, и я буду жить потихонечку и потихонечку умру, но я хочу».

Я говорю: «Витебск – он другой сейчас, поймите, вы его не узнаете. Почти всё другое».

Его жена стала плакать и ушла в другую комнату. С дочкой был просто обморок, когда он мне все это говорил.

Я ему сказал, что можно сделать. «Вот единственная возможность, знаете какая? Если только Хрущев это может решить».

Тогда он пошел наверх на второй этаж, взял книгу репродукций своих и написал на ней с одной опiskeй по-русски: «Дорогому Никите Сергеевичу Хрущеву с любовью к (и вот тут он сделал ошибку, я это понял) НЕБУ и нашей общей Родине». То есть вместо «к нему» он написал «к небу». Поразительно, да? А я когда увидел это, я сказал: «Вы хотели написать здесь «к нему». Он сказал: «Да-да, сейчас поправлю». И он поправил. И там заметная поправка в этом автографе.

Я не дурак был. Я понимал – нужно, чтобы кто-то меня в этой просьбе поддержал, чтобы это не была только моя личная инициатива. И поговорил с послом Виноградовым. Он написал письмо, что поддерживает эту идею, что это страшно поднимет в мире престиж Советского Союза, что очень будет хорошо встречено.

Я съездил специально к Морису Торезу, официальному генсеку компартии. Морис Торез написал письмо и дал мне в руки. Письмо Хрущеву, что он тоже считает – это огромное событие, которое будет прекрасно воспринято, как знак открытости и доброй воли.

Вот такую поддержку я получил, понимаете. И книгу саму Шагала с этой надписью.

И вдруг Лебедев, Владимир Семенович, к которому я все равно очень хорошо относился... (Между прочим, Владимир Семенович Лебедев, когда помогал мне напечатать «Наследники Сталина», рассказал: оказывается, когда мой дедушка Рудольф Вильгельмович Гангнус сидел в лагере, его регулярно возили в Муром – это недалеко. И они его раз в неделю привозили на уроки математики в школу НКВД, где был и Владимир Семенович. И он мне говорил: «Мы так обожали вашего дедушку Рудольфа Вильгельмовича – это был настоящий интеллигент». Вот какая была сложная эпоха! Как все было перепутано в людях. Правда ведь? И это, кстати, способствовало напечатыванию Солженицына.)

...А потом он начал мне говорить: «Вы что!» Это связано с моей биографией – скандал.

Я ему сначала показываю Шагала. Он смотрит и говорит: «А что это такое?» Он никогда не слышал, кто это такой... Я говорю: «Это художник, который уехал, но он уехал не по

политическим причинам. Он просто там остался и никогда не выступал против Советского Союза». – «А это что, какие-то евреи тут?» Я говорю: «Поймите – это евреи в черте оседлости, он жил там. И вот сейчас, Владимир Семенович, когда выставят все картины Шагала, которые он хочет отдать, – все увидят, какой большой путь прошла Россия с той поры».

«Ха-ха!» – сказал он. Вот так. «И не известно еще, что они скажут».

И вдруг увидел в альбоме знаменитую картину, двое летают под потолком и целуются – помните, «День рождения»? И говорит: «А это что такое? Евреи, еще и летают. Вы что, сошли с ума, Евгений Александрович, от вашей заграницы?» Я говорю: «А посол Виноградов иначе отнесся, вот его письмо». – «Да он и сам уже слишком давно там, хватит ему за границей сидеть, ему на родину пора, он утерял там всяческую бдительность! А вы что написали в вашей автобиографии?!»

Я не понял, говорю: «Я ничего плохого не писал. Писал, что я думал». «И вообще, почему вы!» – и тут прав оказался немец Генри Нессен: «Вы почему даже ни с кем не сочли нужным посоветоваться!!!» Он даже ничего не говорил о смысле того, что там было написано. «Вы что! Тут такой скандал поднялся! И нас обвиняют в том, что Никита Сергеевич вам покровительствовал, выпустили вас за границу, хотя его предупреждали о вас! Тут такое делается, вы там гуляете, пьете французское шампанское, а мы там тянем воз!..»

И тогда пошла проработка меня по полной линии. Вышла статья в «Комсомолке» Панкина (который, кстати, попросил у меня прощения за это через много лет). Мне в душу как будто плюнули. Правда. За что?! А вот за то, что не спросился. И все время ведь какие слова произносили! Были слова, я уже не помню что чье – «несмываемые синяки предательства».

Или еще: в одном интервью немецкой газете я просто сказал, что когда я ехал в машине на первое выступление в Германии, так волновался, что сжимал руку Марии Шелл – это сестра Максимилиана. Они на концерте вдвоем читали мои стихи, замечательно читали. И вот меня за эту руку Марии Шелл просто громили. Павлов выступал: «Евтушенко и другие поэты его поколения, вместо того, чтобы устанавливать на передней линии идеологической борьбы пулеметы, обнимаются там!..» Мы должны были что, с пулеметами туда приезжать?!

М.В. Ну конечно. Как правдист Юрий Жуков назвал свою знаменитую книгу – «На фронтах идеологической борьбы». «Бой ведет поэт Иван Кучин», был и такой. Была такая книга, помните.

Е.Е. Я знаю про него еще одну историю, мне рассказывали ее мои друзья-правдисты (среди правдистов тоже друзья были). Жуков все время писал статьи поджигательского характера о Чехословакии. А когда высшая бюрократия читала его статьи – они наверху его писания воспринимали как реальность. Замкнутый цикл бреда. Он что-то слышал от них, потом писал согласно их взглядам, – а потом они воспринимали это уже как объективную реальность.

Еще до того, как наши войска вошли в Чехословакию, когда он в то время нагнетал своими статьями ситуацию, в ресторан, где Жуков ел борщ, вошел молодой человек. Он взял тарелку с борщом и выплеснул ему прямо в лицо. И ушел. Никому не известный. Его никто не остановил. Мне рассказали это правдисты, которые сидели рядом, были свидетелями.

Короче, началось растаптывание меня. И тогда я уехал к себе на станцию Зима. Я всегда куда-то ехал, если что. Россия большая, знаете.

А был такой чудесный секретарь обкома в Иркутске – Макаров. Потом он стал председатель Совета по печати в Иркутске. Вдруг звонит мне – я думал, на проработку вызывает. Я прилетаю, прихожу к нему. А он меня встречает на маленьком аэродромчике с бутылкой шампанского и с бумажными стаканчиками. «Сейчас набегут, – говорит, – будут на тебя смотреть, как по улицам слона водили. Давай сейчас здесь посидим. Слушай, ты сколько времени собираешься здесь пробыть?» Я говорю: «Не знаю, месяца два, наверное». «Тебя в Братске ждут. Слушай, мы тут подсчитали, – ты можешь 40 раз выступить в течение двух месяцев?» Я говорю: «Да вы что? Это кто такое вытерпит?»

В Братске встретили замечательно. Макаров мне устроил выступления повсюду. И это было здорово, потому что принимали изумительно!

М.В. В русской поэзии есть две фразы, два афоризма, наиболее цитируемые и укоренившиеся. Один из них – «Гений и злодейство несовместны». Второй афоризм – «Поэт в России – больше, чем поэт». И вот вопрос идиотский, но интимный: как может такая формулировка прийти в голову? И пришла ли она сразу, или это оттачивалось из какого-то количества слов?

Е.Е. Дело все в том, что нет ни одного человека на земле, я думаю, на всем земном шаре, который столько раз выступал. Во-первых, я выступал только за границей в 96-ти странах. В 96-ти! Я не преувеличиваю. Мне еще Эдуард Амвросиевич сказал, Шеварднадзе, когда он был министром иностранных дел, что, по его сведениям, ни один человек в Советском Союзе не был в стольких странах. Причем я же везде выступал, я нигде не был туристом.

Но также я был во всех республиках Советского Союза. Я был во всех главных регионах Советского Союза! Есть, правда, места, где меня до сих пор боятся, избегают, чтобы я туда приехал. Я вот, например, очень хочу все время съездить в Тамбов, а там все время не хотят.

М.В. А почему?

Е.Е. Откуда я знаю?

М.В. Интересно.

Е.Е. Ну, боятся. Потому что, слушайте, я вам сейчас скажу одну вещь – вы даже не представляете! Вы знаете, где меня больше всего боятся?

М.В. Где?

Е.Е. В Москве.

М.В. Ха.

Е.Е. Потому что когда, вы думаете, Евтушенко, который ездит по всей нашей стране, по всему миру сейчас, – когда он в последний раз выступал в зале Московского университета высотного? 30 лет назад!

М.В. 30?..

Е.Е. Да. Меня ни разу не приглашали в Московский университет после того, как мое выступление там передавали по телевидению. У бюрократии хорошая генетическая память. И это совпало со снятием Хрущева. Так это больше чем 30 лет – это 1964-й год!..

Я написал стихотворение «Качка». Написал задолго до снятия Хрущева, когда я был в Северном море, на шхуне «Моряна» вместе с Юрой Казаковым. Просто мы попали в качку в Ледовитом океане. В Ледовитом океане, знаете, особая качка. А у меня нет морской болезни. И когда все профессионалы бежали, облевавшись, простите меня за выражение, то я стоял за штурвалом. И лежавший на полу штурман, а потом капитан, они мне говорили, что делать и как выворачивать руль.

Так вот это стихотворение никакого отношения к Хрущеву не имело совершенно! Но когда пошла вот эта трансляция моего университетского выступления!.. Тогда ведь заранее передачи не записывали, все напрямую давали. И еще не было опыта, так сказать, остановки передач. Это был первый случай у меня.

Второй случай был в 65-м году – я читал под камерами стихи о Есенине. И когда я прочитал: «Когда румяный комсомольский вождь на нас, поэтов, кулаком грохочет...» – на экранах телевизоров появилась табличка: «По техническим причинам передача прервана».

Но первый случай – тот скандал в МГУ, когда я прочел «Качку», а Хрущева в это время сняли. И они решили, что это я специально. Там были такие строчки:

Качка!
Все инструкции разбиты,
все портреты тоже – вдрызг;
лица мертвенно испиты,

под кормой – крысиный визг,
и вокруг сплошная каша,
только крики на ветру,
только качка, качка, качка,
только мерзостно во рту.

Они сочли, что я написал про снятие Хрущева.

М.В. И что они должны были подумать, когда Евтушенко читает такие стихи во время снятия Хрущева? Я думаю, что они были в этом свято убеждены.

Е.Е. Это просто паранойя. Никакого отношения не имело к Хрущеву.

М.В. Они бы в это никогда не поверили. И вот с тех пор вас не приглашали в здание на Ленинских горах, в большой Университет?

Е.Е. Вообще в Москве мне не дают выступать в университетах. Наши главные аудитории были когда-то – МЭИ, МАИ, МИФИ, технические институты. Там мы всегда выступали – и они испугались с той самой поры, потому что кому-то из них всегда влетало, а у бюрократа генетическая память.

М.В. Передавали историю, как снимался фильм, и когда по ходу съемок режиссер засомневался, удастся ли ему собрать массовку, приглашенный сниматься Евтушенко велел: «Скажи, что Евтушенко читать будет – народ соберется».

Е.Е. Марлен Хуциев. Это тот знаменитый поэтический вечер в Политехническом в «Заставе Ильича».

М.В. «Поэт в России – больше, чем поэт».

Е.Е. Да эти слова для меня просто как выдыхать было.

Выступали против меня братья-писатели, не хочу называть их, несть им числа, и они всюду говорили: «Евтушенко читает для каких-то там...» Даже Шолохов писал глупые вещи. Он же меня принимал у себя, обещал защитить «Бабий Яр», между прочим, потому что его именем спекулировали, когда били меня за «Бабий Яр».

Я говорил: «Вы придите ко мне, не ко мне – к нашему поколению, мы вас примем прекрасно. Послушайте, как читают стихи».

Потом я поехал на Кубу. Рассказываю там с восторгом «Дону Алехандро», нашему замечательному послу, как Шолохов обещал защитить мой «Бабий Яр». А через несколько дней он мне звонит: «Слушай, тут «Правда» пришла с последней почтой. Приходи. Как я всё и предвидел».

И вдруг я вижу речь Шолохова, который не побывал ни разу ни на одном вечере поэзии: о том, что сейчас проходят в Москве в сомнительных аудиториях эти поэтические вечера, собирающие толпы истерических кликуш и пижонов.

М.В. Он это все-таки написал сам, или его заставили подписать?

Е.Е. А какая мне разница? Он произнес об этом огромную речь. То ли это Съезд Партии был, то ли что, уже не помню.

И они показывают мне в посольстве эту шолоховскую речь на каком-то конгрессе. Я говорю: «Но он такой искренний был, когда говорил мне, что поддерживает!» «А почему ты считаешь, – ответил мне тогда Дон Алехандро (это кличка тогдашнего посла на Кубе Алексева), – что у него только одна искренность? У него есть разные искренности, как у многих сейчас, к сожалению. Да, он замечательный писатель, он написал великую книгу. Но у него имеется целая панелька искренностей, целый пункт искренностей. Какую он хочет искренность, такую и включает. И дома с тобой он тоже был искренен...»

Вот что сказал мне тогда посол СССР на Кубе Алексеев...

М.В. Контрастная многорегистровая искренность... Вы упомянули свое плавание на зверобойной шхуне. С тех пор, как я школьником прочитал впервые «Катер связи», где были многие стихи того периода, у меня сидит в голове:

Нерпы, нерпы, мы вас любим,
но дубинками вас лупим,
ибо требует страна,
ибо, нерпы, вы – валюта,
а валюта нам нужна.
Чтоб какая-то там дама,
Сплошь одно ребро Адама,
В мех закутала мослы,
Кто-то с важностью на морде
вновь вбивает нам по Морзе
Указания в мозги.

Вы долго на этой шхуне были в рейсе?

Е.Е. Ну, конечно, с Юрой Казаковым мы были там месяца два-три.

У меня был там один случай, я потом написал по этому поводу стихотворение «Можно всё еще спасти» – о Робертино Лоретти. У меня случилась там единственная моя, наверное, жертва. Они били маленьких китов – белух. И нерп тоже били заодно, но в основном белух. Когда мы вышли первый раз, я вдруг увидел, что они вынесли на палубу простую винокрулу с заводной ручкой (ну, это типа патефона) и поставили пластинку Робертино Лоретти – «Аве Мария». «Для чего?» – спрашиваю. А они говорят: «Они, между прочим, любят Робертино Лоретти, тут все зверобои знают».

И действительно, вынырнула из моря такая просто живая человеческая голова, физиономия. И капитан закричал мне: «Стреляй!» – когда высунулась эта мордочка. Ну, я, конечно, взял винтовку и выстрелил. И это до сих пор меня убийственно мучит. Эта мордочка была такая любопытная, с этими усиками, и она слушала эту музыку, – и вдруг вот это, что было чем-то живым, слушающим музыку по-человечески, я бы сказал, – превратилось в мертвое, всплыло внутри багрового расплывшегося пятна.

И я говорю: «Почему же мы ее не берем, куда, чего уходим отсюда?» А капитан отвечает: «А первую добычу мы не берем». Потом я ему открыл, что у меня ужасное состояние было, и народ решил – нет, тебе не годится эта работа, мы тебя на камбуз переводим. Так что я там проплавал, слава Богу, не участвуя в этих убийствах.

Я все-таки охотился с детства, и первого медведя убил, когда мне было, наверное, лет 12. Но это от голода было во время войны. С бабушками я ходил на охоту. А вообще, после того, как я был на реке Вилюй с Леней Шинкарёвым, моим другом, замечательным корреспондентом... Двое гусей летели над нами. Я очень хорошо стреляю с детства. И я сбил одного влет. Он упал прямо в нашу лодку – мне на колени. И вдруг повернул голову и посмотрел на меня – глазами в глаза, – прежде чем их закрыть. После этого я бросил охотиться навсегда.

...Вы задали вопрос очень важный – как у меня сложилось это одностишие: «Поэт в России – больше, чем поэт». Братья-писатели многие, которые на меня нападали и называли «западником» и прочее, – да ни один из них не написал столько стихов о России, сколько я. И песен, которые поются о России. Правда, вот это удивительно. А они мне все время талдычили, корили: «Вот ему бы поехать по России, поесть черного хлеба» и т.д. Я столько его ел, этого черного хлеба!.. Хотя он мне никогда не надоедает. Я по всем медвежьим углам выступал и читал.

Вот мы прошли, например, на «Микешине» всю Лену – всю Лену! – 4,5 тысячи километров. Так там нет ни одного населенного пункта, где бы мы не останавливались и где я не читал стихи. Никогда нога поэта туда не ступала.

Эти поездки были в то время часто, и ругань часто. Скажем, как раз я ездил, в Вологде был, – а меня тут поносят газеты, писали бог знает что. Некоторые наши официальные писатели выступали: пусть-ка Евтушенко поедет в глубинку, чтобы его осудил его собственный народ!

Да может быть, ни один поэт в жизни своей не видел столько любви народной, сколько видел я. Потому что я никогда не отворачивался от народа, я ездил всюду, и всюду читал свои стихи. Что, кажется, я умею делать.

Мне грозили: «Гнев народа обрушится на него, если он появится перед лицом народа!» Во-первых, я никогда не отделял себя от народа – я тоже его часть. И я, когда бываю за границей, даже сейчас, когда я преподаю в Америке русскую литературу, я чувствую себя частью моего народа и литературы моего народа. В конце концов, я написал такие строчки: «Как нежен гнев народа моего». Все нападки на меня, которые были, – они ничего не стоят в моей жизни перед памятью о том, с какой любовью меня встречали и встречают до сих пор.

Всего два года назад я был на Грушинском фестивале. Я читал стихи для 42 тысяч людей, собравшихся на берегах Волги. Я читал ночью свое только что написанное тогда стихотворение о матче СССР – ФРГ в 55-м году, когда все ждали, что будет какая-то бойня. Потому что на трибунах много фронтовиков, и много инвалидов собралось на матч, выкатили все оставшиеся, скрывавшиеся где-то в подвалах, их же с бесстыдной беспощадностью выселяли и отправляли в отдаленные места, на всякие острова, чтобы они не портили пейзажа нашей расцветающей матушки-Москвы. И они приехали туда на стадион. У них у всех висели надписи на дощечках «Смерть фрицам!», «Отомстим за «Динамо»-Киев!» – тот случай с расстрелом футболистов.

И вот начался этот матч. Их было тысяч 8–10, не меньше, безногих инвалидов, сидевших на этих своих деревянных платформах на шарикоподшипниках. И людям вокруг было просто страшно. Мы были с Женей Винокуровым, фронтовиком, он дошел до Пруссии, и сейчас его трясло, что тут будет бойня какая-то.

Никакими инструктажами невозможно научить тому, что произошло на футбольном поле в сражении между нашими и немецкими футболистами. Первый гол забили наши, Паршин забил. Их не смогли сдержать, он упал. Фриц Вальтер, капитан команды, после войны был военнопленным у нас и видел, как рядом страдали русские пленные, которым они все строили, – пленные в своей собственной стране, только без таких надежд и прав, как у военнопленных. Вальтер все это помнил. В немецкой команде были еще два футболиста, отбывшие в плену, они тоже знали, как русский народ страдал во время войны. И это сыграло свою роль.

Все понимали, что сейчас на них смотрит вся Европа. Тогда еще практически никакого статуса взаимоотношений с ФРГ у Союза не было. Матч проходил перед ожидавшейся встречей Аденауэра с Хрущевым. Немцы ситуацию по-граждански чувствовали. И когда Паршин упал, Фриц Вальтер поднял его бережно, пошел вместе с ним в обнимку к центру поля.

Они начали игру, и за счет потери красоты игры и остроты играли очень корректно, дружелюбно, с достоинством, а это была острая игра. Наши выиграли 3:2. И с поля уходили все в обнимку. Яшин, молодой еще, вышедший первый раз за сборную, отдал свои перчатки немецкому своему коллеге.

Психологически это было одно из самых больших событий в моей жизни – тогда я раз и навсегда поверил в возможное братство человечества, понимаете? То, что произошло во время войны между немцами и нами, – это страшно, но я поверил в братство раз и навсегда. На этом я стоял и стою.

И когда я прочел стихи об этом, стоя перед 42-мя тысячами молодых в основном людей, которые сидели на горе, – они сигналили фонариками, когда я дважды споткнулся где-то. Некоторые уже знали эти стихи – гора ответила, голоса подсказали мне. Я закончил читать, и маль-

чик, который должен был всё это завершать своей песней – а была глубокая ночь, концерт после полуночи, – мальчик вдруг понял. Гора встала после моего выступления, первый раз за 39 лет Грушинских фестивалей она встала. И он, поняв ее настроение, вдруг запел не свою песню – поразительная интуиция у этого молодого парня. Он спел песню Окуджавы «У всех у нас одна победа» из «Белорусского вокзала». И вдруг эта 42-тысячная стоя запела. Они знали все слова до последней буковки, эти слова человека, которого на моих глазах исключали из партии, как его обзывали – пошляк с гитарой и так далее. Я увидел там, что сделала поэзия шестидесятников, и как она осталась в сердцах людей, и что она будет жить вечно.

Борис Стругацкий
Блаженный мир хищных вещей века



Они никогда не писали о других мирах, но только о здесь и сейчас.



Михаил Веллер. Это я же когда-то ходил к вам в семинар, а не вы ко мне, правда?

Борис Стругацкий. Да.

М.В. Так вот, вы, будучи патриархом советской фантастики, вообще советской литературы, ощущаете себя патриархом? Вот каково это: ощущать себя патриархом?

Б.С. Вы знаете, Миша... Ничего хорошего. Быть патриархом – это прежде всего означает каждый день лечиться. Каждый день! – будь оно все проклято. Это в первую очередь. Всё остальное во вторую, в третью и четвертую.

Иногда мне приходит в голову совершенно неожиданная мысль о том, что я действительно оказался сейчас чуть ли не самым старым отечественным фантастом XX века. Но потом я спохватываюсь, что есть еще более уважаемый и старейший член нашей общины – Евгений Войскунский, которому я передаю пламенный привет. Так что я патриарх второго разряда. Это уже хорошо. Но, в общем, ничего интересного в том, чтобы быть патриархом, нет. Я всегда это подозревал, так оно и оказалось на самом деле.

М.В. Вы знаете, в литературе нашей вот сейчас есть Фазиль Искандер, но Искандер, в общем, нигде не показывается, ни очно, ни заочно, ни в чем не участвует. И уже несколько моложе – Андрей Битов, который как-то показывается, но, в общем, книги у него выходят и переиздаются редко, не звучат. Вы – продолжаете присутствовать на книжных прилавках, в библиотеках, в читательских руках и мозгах в полном объеме. В этом плане вы безусловно вне конкуренции. И вот это место ваше, которое я не могу забыть... Для тех, кто не ходит и не знает: в том помещении, куда переехал сгоревший ленинградский, петербургский Союз писателей, стоит кресло типа трона, которое называется «Кресло Бориса Стругацкого», и более никому на ваше место садиться не дозволено. В разных смыслах.

Б.С. Но это разве так, Миша? Я что-то сомневаюсь. Это какая-то легенда. Не было этого.

М.В. Слушайте, перестаньте разыгрывать, потому что я видел его сам. Его приволок Каралис, основатель писательского клуба, с ребятами откуда-то. И вот оно там стоит: с красным

сафьяновым сиденьем, с белой резной высокой спинкой и подлокотниками, и на него в моем присутствии никто не мог садиться.

Б.С. Миша.

М.В. Да?

Б.С. Все правильно, кроме одного. Стоит это кресло не в Доме писателей, как вы это...

М.В. Нет-нет-нет... на Макаровской набережной, в этом клубе.

Б.С. Вот там в клубе, в центре литературы и книги, вот оно стоит, такое кресло. Действительно стоит. То есть в последний раз, когда я там был, оно стояло.

М.В. Вот. И это я имел в виду... (Нет, прекрасно: уже не соврал, – это уже успех.) И вот с высоты этого кресла: что видно, различимо сегодня вам из советской фантастики шестидесятых – семидесятых, того периода, который сейчас ощущается неким золотым периодом великой империи?

Б.С. Миша, я не сторонник восхищаться золотой империей и соответствующим веком. Это был, на мой взгляд, недобрый век. Да, как и всякое недоброе время, он выковывал иногда очень и очень приличных людей. Это его плюс. Но я не знаю, достаточно ли этого плюса для того, чтобы называть этот век именно золотым.

Для фантастики это было особенно тяжелое время. Сейчас об этом все и всё забыли. Даже мы – старики, по-моему, редко об этом вспоминаем.

Потому что ныне оказались в каком-то смысле в райских куцах: в мире, который мы представить себе не могли и ожидать не могли никак. В мире, где нет цензуры, в мире, где всё решает издатель, где издателей много, а поэтому выбрать можно такого, которому ты нравишься. Настало время, которого никогда в России, насколько я знаю, не было: не было такой свободы печати вообще никогда. И в фантастике в частности.

Так что золотым я назвал бы именно сегодняшнее время, а не тогда... Но молодость берет свое, и когда вспоминаешь, какой ты был энергичный, сколько в тебе было сил, как много было всевозможных замыслов, как в тебе бурно кипела злоба к существующему положению вещей, – конечно, испытываешь некоторые положительные эмоции тоже. Куда ж, без этого не денешься, молодость есть молодость. Как говорится, трава была зеленее, девушки красивее, вино пьянило больше и лучше, и легче, чем сейчас, – все это так, совершенно верно...

Но что главное все-таки? Что, на мой взгляд, главное? То – о чем очень часто говорят, и о чем, может быть, вы собираетесь меня спросить... предупреждая ваш вопрос, потому что он мне кажется неизбежным. Мне очень часто говорят сторонники державности, величия отчизны и прочих страшных вещей: вот если тогда там было так плохо, а сейчас так хорошо, – почему там было так много хороших писателей и почему их так мало сейчас? Этот вопрос не совсем честный. Потому что литература (к счастью или к сожалению) не имеет никаких объективных критериев, – и поэтому действительно объективно, независимо от вкуса своего, определить, что лучше и что хуже в литературе, просто невозможно.

Дело в том, что то было время замечательное в том смысле, что достаточно было написать повесть чуть выше среднего уровня, чтобы она составила маленькую, но сенсацию. Сейчас, по моим личным наблюдениям, (а я довольно внимательно слежу за развитием отечественной фантастики), по моим личным наблюдениям, ежегодно выходит добрый десяток произведений такого сорта, такого вида, таких достоинств, что, если бы они вышли в восьмидесятом году, то любое из них составило бы сенсацию высокого ранга. Не просто как маленькую сенсацию, а высокую сенсацию.

Никуда ведь не делись замечательные мастера, которые выковывались именно в те времена. Я имею в виду Вячеслава Рыбакова, и Михаила Успенского, и многих-многих. Не берусь всех перечислить, их очень много. Простите, ребята, если я кого-то сейчас не назову.

И особенно я рад тому обстоятельству, что сейчас появилось много писателей, которые сами себя фантастами не считают, но которые пишут именно фантастику. Очень добротную,

очень хорошую и настоящую. Здесь и Пелевин, здесь и Быков, здесь и присутствующий Михаил Иосифович Веллер, которого люблю, читаю всегда, как только вышла новая книга, немедленно ее покупаю. Каждый из этих писателей выпускает книжки сенсационные с точки зрения тех же семидесятых годов.

Но время другое, читатель другой, потребности другие. Представление о том, что такое хорошо и что такое плохо, сильно изменилось, сильно изменилось. Это неудивительно. В конце концов, литература стареет медленнее, чем кино, но все равно стареет. И представления о хорошем и худшем стареют тоже. Поэтому очень трудно сравнивать наши два времени.

Мне очень много говорят о кризисе: фантастика в глубоком кризисе! Не знаю. Я работаю в фантастике больше полувека, и все эти полвека я слышу одно и то же – фантастика в глубоком кризисе. Появляются все новые и новые имена, появляются все новые и новые произведения. И даже если не возникают сенсации – да Господь с ней, с сенсацией. Сенсация – это продукт очень сложный. И возникновение сенсации – это вещь дьявольски проблемная и не очень понятная. И она имеет, понятие сенсации имеет далеко не только к литературе отношение. Она к чему только не имеет отношения! И к нашему представлению о быте, в котором мы находимся, и к нашему представлению о будущем, да к чему угодно.

Нет, для меня никакого кризиса не существует до тех пор, пока в стране устойчиво не прекращают работать десять – двадцать писателей, которые ежегодно выпускают десять – двадцать произведений, которые я читаю с удовольствием. Мне не надо сенсации – мне этого достаточно. Пока такое положение вещей сохраняется – с моей точки зрения, всё обстоит благополучно; скажем так – удовлетворительно. Я люблю такой спокойный термин – удовлетвори-тельно. Может быть, нет никаких всеокрушающих сенсаций, но и никаких катастроф, поражений, категорических убылей тоже не существует.

Вот мое представление, если говорить воедино, если вообще сравнивать две эти эпохи. Не знаю уж, удовлетворил ли я вас...

М.В. В высшей степени. И возникает вопрос в связи с этим. Вспоминая сейчас овеянные ностальгической, романтической и голубовато-черноватой дымкой шестидесятые, что для вас помнится, ощущается главным в атмосфере шестидесятых в отличие от дня сегодняшнего? Кроме того, что сегодня степень свободы не сравнить, разумеется.

Б.С. Так это же главное. Все дело и заключается в степени свободы. Шестидесятые похожи на наше время. Ну, точнее, не совсем на наше время, а скорее на эти лихие, бешеные, сумасшедшие девяностые, о которых так любят говорить сторонники державности. Шестидесятые отличаются тем, что количество и качество свободы было несколько ниже. Но ведь очень важно было, что это количество и качество имело-таки место. И оно имеет место сейчас. Даже вот в наше время, когда ограничения свободы налицо. Прямой государственной цензуры, может быть, и нет как встарь. Раньше ведь тоже не было. И существование Главлита – цензурного комитета – было государственным секретом, а в принципе цензуры как бы и не было. Было только мнение редакторов, которые решали, что правильно, а что нет. Что можно, а чего нельзя.

Сейчас нет такой инстанции, которая решала бы, что можно, а что нельзя. Эта инстанция замкнулась в персоналиях. Люди, занимающиеся изданием, теперь лично принимают решения, что можно, а что нельзя. И поскольку людей много, точек зрения много, позиций разнообразных много – значит, и возможностей больше. И ощущение большей свободы безусловно имеет место. Разница, может быть, заключается в том, что в шестидесятые годы всё это было внове. Это был такой неожиданный подарок судьбы, о котором и говорить-то не приходилось в те времена. Более того, ощущение подарка судьбы мы наблюдаем и сейчас в наше время тоже.

...Мне все время кажется, что вокруг меня творится какой-то фантастический непредсказанный мир. А вот чем отличалось наше время от шестидесятых существенно – так тем, что в шестидесятые мы были гораздо большими оптимистами, чем сейчас...

Если бы я обладал параноидальным складом мышления, то я бы сказал: ну вот, Миша, Старший Брат нас слушает. Но Старший Брат не уловил главного из того, что я хотел сказать. Я как раз хотел провозгласить славу, в каком-то смысле, конечно, в узком, но все-таки славу, существующему порядку вещей. Дело в том, что чем больше я на эту тему размышляю, тем более прихожу я к оптимистическому выводу, что существование этого волоска свободы зачем-то нужно власти имущим. Зачем? Об этом можно, наверное, целую книжку написать. И, наверное, книжки на эту тему пишутся, просто мы их не читаем. Но зачем-то это нужно. Вот существование этого волоска, обрубить который можно одним только дуновением, – это существование дает надежду на то, что это надолго. Вот навсегда – я не знаю, стоит ли употреблять такой термин, но – надолго.

Поскольку я, в отличие от конца шестидесятых, совершенно убежден в том, что никакой авторитаризм не может существовать сколь угодно долго. Поскольку я убежден, что оттепель очередная, какая там уже, третья или четвертая, является совершенно неизбежной. Она почти не зависит ни от желания народа, ни от желания начальства, а зависит от каких-то совершенно перманентных, очень важных, очень глубоких причин, связанных с психологией власти вообще. Поскольку я вот в этом убежден, для меня существование этого волоска чрезвычайно важно. Его берегут, ничего не стоит его обрубить, но его берегут. Зачем-то это надо. Кто-то хочет его сберечь. Кто-то хочет все-таки оставить ситуацию взвешенной. Никто не хочет прекратить то веяние свободы, которое возникло в конце шестидесятых, – дыхание свободы. Можно было его прекратить, задушить в одно мгновение, в двадцать четыре часа, в пятнадцать минут. Можно, но не делается это.

Это дает надежду. В мои годы надежда – это большое дело. Хотя на самом деле это, конечно же, глупость. Какие могут быть надежды в 78 лет? А тем не менее как-то приятно думать о том, что не исключено, что это всё не прекратится вместе с нами. Что это будет жить, что это будет развиваться, что мы еще увидим небо в алмазах.

М.В. В связи с этим: в шестидесятые годы, да и вообще традиционно было в России с пушкинских, с ломоносовских времен: писатель – это фигура чрезвычайно значительная на отечественном небосклоне. Он занимал очень высокое место в писаной и неписаной табели о рангах. Знатный советский писатель с чиновными регалиями практически приравнивался к члену ЦК. А уж слово писателя весило изрядно и значило немало. Крупный признанный писатель был как сейчас олигарх. Сейчас все эти системы знаков несколько сменились. На ваш взгляд, в те старинные шестидесятые – семидесятые – что было для писателя главным благом и главным злом?

Б.С. Ну, Миша, – вы, профессионал, всю жизнь занимаетесь литературой, и задаете мне этот вопрос?

М.В. Да уж кому же, если не вам?

Б.С. Вы же должны понимать, что для каждого задача ставилась по-своему. И каждый видел свои цели по-своему. И одни считали себя олигархами, а другие считали себя недобитками временными. И существовали, тем не менее, те и другие одновременно. Каждый получал какие-то плюсы от своего положения. Каждый стремился жить по совести, вернее – в соответствии с той совокупностью принципов, которую каждый из них называл совестью.

У разных олигархов эти понятия отличались, поэтому и олигархи отличались. Иначе и быть не может. Не могло бы.

Вы правы, безусловно, в том смысле, что размеры литературных «олигархов» сильно уменьшились сейчас, но это неудивительно, с другой стороны. Другое время, другие герои.

Сейчас ребята молодые уже не хотят быть ни космонавтами, ни (упаси Бог) писателями. Они хотят быть бизнесменами, они хотят быть коммерческими директорами, хотят занимать посты... вот у меня даже представление о таких постах смутное, а они имеют представление

очень хорошее. Ничего удивительного в этом нет. Другое время, другие задачи, другие цели, другие моральные нормы, к сожалению.

Поэтому можно считать, что наступил период мрака, период падения всего хорошего, всеобщего морального оупения. А можно считать, вот как я считаю, что жизнь идет своим чередом: она рождает своих героев, сохранились целые классы, во всяком случае мощные классы, очень мощные прослойки людей, нравственные представления которых ничем не отличаются от нравственных представлений шестидесятников. И эти люди по-прежнему считают, что настоящими олигархами являются олигархи духа. И они сожалеют только о том, что олигархов духа почти не видно. Это да, это печально.

Но от этого само значение олигарха не исчезает, но меньше его, реже встречается. Ну, в конце концов, настоящие олигархи духа и совести и в шестидесятые годы были огромной редкостью. Ну сколько их там было: два-три человека от силы, в зависимости от представлений своих о нравственности. То есть очень маленький список, можно пересчитать по пальцам на руке.

Сейчас тем более. Их еще меньше. Спросите меня, кого я могу сейчас считать олигархом духа, носителем царственной тени поколения. Я запнусь. Я не знаю, что ответить на этот вопрос. Но меня удовлетворяет уже хотя бы то, что существует достаточно мощный слой интеллигенции, который, судя по тому, что они пишут, судя по тому, что они читают, судя по тому, что они говорят – они остаются людьми моего характера, как говорил Плиний-младший. Это люди моего характера, люди плоть от плоти моей и моего же духа. И пока эти люди существуют, существует норма существования, норма пребывания в жизни, норма бытия, ради которой стоит и бороться, и пытаться что-то сделать, и сохранять свой личный нравственный потенциал, что чрезвычайно важно.

То есть мир прекрасен. Мир по-прежнему прекрасен, когда ты начинаешь понимать, как много хорошего в нем еще осталось.

М.В. Начиная с шестидесят второго года, когда у вас вышла «Попытка к бегству», практически каждый год выходила новая вещь братьев Стругацких. Насчет сенсации, о которой вы упомянули, – ну, не было слова «сенсация», но люди формулировали какими-то сходными понятиями на простом советском языке. Так каждая эта книга была сенсацией для всех, кто читал.

И вот одна из этих сенсаций – «Хищные вещи века». Вышла в 65-м году. То есть это получается почти полвека уже! Для нас когда-то, я еще был школьником, это все явилось откровением. Это была фактически, может быть, первая советская антиутопия внутри утопии. Хороший мир в будущем, в котором плохо.

Но проблемы, которые вы тогда поставили, их у нас тогда не ставили никакие журналисты. Отсутствие смысла жизни, загнивание всех очень сытых и так далее и так далее. И масса этих блестящих афористичных диалогов в устах как бы проходных персонажей. Вас же много раз в жизни и журналисты, и критики, и литературоведы, и поклонники спрашивали об этой книге. Как объяснить, откуда это возникло в вас тогда, что массу проблем, с которыми мы столкнулись в XXI веке, вы описали в середине шестидесятых?

Б.С. Миш, «Хищные вещи» – это редкостная и редкая футурологическая удача авторов. Вы, наверное, знаете, что братья Стругацкие были невысокого мнения о прогностических возможностях фантастики. Я и сейчас считаю, что фантастика ничего предсказывать толком не может, кроме банальностей, или очевидностей, или случайностей. А вот с «Хищными вещами» получилось на самом деле предсказание.

Хотя задумывалась она совсем иначе. Ведь мы строили и ставили перед собой очень узкую, чисто идеологическую задачу. Показать всем тем жлобам из отдела культуры ЦК, что напрасно вы ставите такие мощные акценты на создании мира потребления, на том, чтобы обогнать Америку по количеству производимых яиц... не в этом дело! Вы вырастите сытого,

довольного самца, которому будет все до лампочки. Вы называете это коммунизмом – никакой это будет не коммунизм. Это не будет иметь никакого отношения к коммунизму. Это будет в значительной степени антикоммунизм.

Вот эту вот идею – простую для того времени – мы пытались в «Хищных вещах» выразить. И писали, по сути дела, субъективно. Писали, как вы правильно сказали, антиутопию. Нам казалось, что мы пишем плохой мир. И мы пребывали в этом ощущении еще год, два, три после того, как книга уже вышла и получила порцию идеологических оплеух – за то, что мы попытались якобы убедить читателя в том, что возможен капиталистический мир благосостояния. Невозможен капиталистический мир благосостояния, говорили нам! Мир капитализма – мир нищеты и убожества!

Прошло два-три-четыре года, и, общаясь с умными читателями (какая замечательная категория – умные читатели!), мы вдруг поняли, что всё не так. Умный читатель говорил: слушайте, ребята, что вы крыльями хлопаете, что плохого в том мире, который вы описали? Да, конечно, это мир сытый, это мир благополучный, это мир безусловно туповатый, это мир, более того, безусловно духовно бесперспективный – это так. Но с другой стороны, это мир, где каждому дано то, на что он годен. «Каждому свое» – написано над входом этого мира. А ведь это очень хорошая фраза, жалко, что фашисты испоганили ее над Освенцимом или в Бухенвальде.

Каждому свое. Хочешь – услаждай себя дрожжкой и уязвляй слегом, а хочешь – посвяти всю свою жизнь борьбе с дрожжкой и слегом. И ты будешь счастлив, и это будет высокое счастье.

И вот тогда до нас дошло, что никакая это не антиутопия, конечно. А просто удалось нам угадать наиболее естественное и наиболее вероятное направление движения общества и мира. Мир двигался не к коммунизму, мир двигался не к фашизму, мир двигался к обществу потребления.

И вот удалось дожить до времени, когда этот мир потребления реализовался. Он реализовался не только в благополучных странах с миллиардами, он даже в России в относительной степени реализовался. Хотя у нас еще очень много осталось бедных и неудовлетворенных, но ясно, что движение идет именно в этом направлении. Сделать людей более сытыми, сделать людей более обеспеченными: именно об этом хлопочут все без исключения партии, это мы слышим во время их предвыборных выступлений. Об этом они в первую очередь беспокоятся, и это они в первую очередь обещают. Что совершенно естественно, между прочим. С определенной точки зрения так оно, собственно, и должно быть. Это есть нормальная, обычная, необходимая, минимальная демагогия. Так оно и было всегда.

А что касается будущего, то вы знаете, сейчас происходят иногда странные диалоги между мной и читателями. Читатели говорят: вы предали идеалы коммунизма! Вы воспели мир Полудня, а параллельно с ним прославляете, по сути дела, мир потребления. Нет. Я не прославляю этого мира. Вы не найдете ни одной строчки, в которой этот мир я бы прославлял. Я просто принимаю его как неизбежность.

Дело в том, что мир Полудня, о котором мы мечтали, в котором нам уже жить не придется никогда, мир Полудня – это чистая социологическая мечта. Реализация которой возможна только при одном, по-видимому, неисполнимом условии – создании высокой теории воспитания, когда с детства человеческого детеныша, изначально маленькую обезьянку превращают в творца, для которого главное – это творческий труд. Вот это невероятно. Просто потому, что это никому не нужно.

Я озираюсь вокруг – и я не вижу ни класса, ни прослойки, ни силы какой-нибудь, ни идеологии, которая хотела бы создания такой теории воспитания. Она никому не нужна. А если она не нужна, то она и не возникнет, наверное. А вот мир потребления – это устойчиво, как пирамида. Это, по-видимому, неизбежно. Это будет стоять века.

Плохо ли это? Смотря с какой точки зрения. С точки зрения мира Полудня – да, это плохо. Но с точки зрения «1984»-го и иже с ним, с точки зрения той истории, которую мы

пережили в сороковых – пятидесятых годах, Господи, – да это блаженный мир! Все жили бы в нем и только радовались. Вот в чем заключается хитрость ситуации. Вот это, к сожалению, не всем и не всегда понятно. А если люди даже это и понимают (понимают, я думаю, ничего сложнее теоремы Пифагора здесь нет), то они не склонны это принимать. Они все считают, что идеальный мир лучше, чем любой материальный мир, не содержащий в себе элементов идеального мира. Без идеализма жить не интересно.

Вот, наверное, как мы все устроены. Это понятно. Никуда не денешься...

М.В. Боюсь, человек не для того создан, чтобы блаженствовать, а для того, скорее, чтобы переделывать этот мир и быть им недовольным, каков бы он ни был. В связи с этим по другой книге, о других двух мирах, возникает вопрос. О «Попытке к бегству» всегда ходило много слухов. Это уже в 1962-м, написано, правильно? Так вот, среди любителей фантастики всегда бытовало мнение, что изначальный, родной вариант финала «Попытки к бегству» был таков, что он бежал не из фашистского концлагеря, а из лагеря на Колыме, – Саул Репнин, суровый герой ниоткуда. Поэтому та снежная равнина, и замерзающие люди, и сторожевые вышки в снежной пустыне ему были знакомы как нельзя лучше. Разумеется, такое никогда не могло бы быть напечатано тогда. Этот слух имеет под собой какую-нибудь правдивую основу?

Б.С. Абсолютно! Абсолютно, Миша! Так оно и было. Так оно было задумано, более того, и написано это было. Где-то в архиве затерялись странички с этим текстом насчет чекиста, который разговаривает с Саулом. И Саул описывает этот разговор, и ясно совершенно, что не какой-то шарфюрер с ним разговаривает, а разговаривает с ним советский вертухай, некий старший лейтенант. Это все, безусловно, так и было! И это было абсолютно, конечно, непреходимо.

Мы когда это писали, до конца еще не понимали, до какой степени такое непреходимо. А ведь это все было в перелом, вот именно в самом начале шестидесятых появились первые попытки сталинистов вернуть всё обратно. И эти попытки увенчались успехом. Мы вынуждены были отказаться от этого замысла.

Это было огорчительно, но, к счастью, ни одного слова в тех текстах, которые мы приписывали Саулу или его попутчику, изменять нам не пришлось. Снежные равнины и караульные на башнях были одинаково близки и зэку из Магадана, и несчастному парню военнопленному из Бухенвальда, или где он там сидел. Это было слишком похоже одно на другое, чтобы горевать, что одно отменили, а другое оставили. Это было слишком уж, совсем похоже...

М.В. Это поразительно, и показательно, и символично, и печально это все, и в историческом смысле печально. Я этого не знал, естественно, и знать не мог. Мог только предполагать. Но смотрите: ведь еще только вчера по отношению к написанию этой повести был опубликован в «Новом мире» (с задвига, с подачи Хрущева) – «Один день Ивана Денисовича» Солженицына. И лагерная тема вошла в литературу, в обсуждение. И в принципе можно было предположить, что реально, допустимо в 1962 году это напечатать в родном варианте.

Б.С. Дорогой Миша, мы и предположили. И ошиблись. Потому что тема как вошла – так и вышла, буквально через год-два.

Все разговоры о том, чтобы наградить Солженицына Ленинской премией, как-то задохлись, – а это была в обсуждениях сенсационная, идеологически основополагающая идея. И когда эта идея умерла, и когда стало ясно, что этого не будет никогда, – вот в этот момент мы и поняли, что оттепель делает «поворот все вдруг» назад.

Еще оставались достаточно сильны позиции Твардовского и иже с ним, оставались. Еще борьба продолжалась, еще было не все ясно. Еще сталинисты помалкивали в то время. Они боялись еще вылезать, потому что у них руки были по локоть в крови и, если бы начались настоящие разборки, то им бы всем мало не показалось. И тем не менее общее настроение наверху уже определилось в шестьдесят втором, максимум в шестьдесят третьем году. В шестьдесят втором оно определилось.

М.В. Скажите, но ведь напутственные слова Саула, сказанные в будущее: о том, что с фашизмом придется драться всегда, – по сути, отрицают саму идею возможности «мира Полуночь», потому что драться придется всегда!

Б.С. Да, но почему всегда? Почему всегда? Потому что Саул прекрасно понимал, что до тех пор, пока проклятие отцов будет передаваться к детям, до тех пор, пока все будет оставаться по-прежнему, как оно было веками, и сын будет жить так, по тем законам, по тем нормам, который завещал ему открытым текстом, скрытым текстом, своим поведением отец, – до тех пор ничего существенного в мире не изменится.

Многое будет изменяться: мобильные телефоны завалят весь мир, айподы все эти чертовы, в которых я ничего не понимаю, но ничего существенного в нравственном отношении происходить не будет. И по-прежнему будут систематически из поколения в поколение рождаться расисты, нацисты, человеконенавистники, уроды сексуальные, если угодно. Это неизбежный процесс со всеми вытекающими отсюда последствиями. Потому что если отцы порождают расистов и нацистов, то они порождают зерна будущего фашизма – обязательно!

Именно об этом и говорил Саул. И именно с этими последствиями придется воевать всю жизнь.

М.В. А вот сейчас мне будет неловко. Потому что когда-то, много лет назад, я заикнулся о «Трудно быть Богом», и вы сказали с неудовольствием, что вы с братом, в общем, эту повесть не любите. Ну – вы ее уже написали и напечатали, зато дальше ее любят остальные. Я о ней заговорил, отталкиваясь сейчас от слов ваших о неизменности мира и возможности менять или не менять этот мир... Читая двадцать лет назад наделавшую столько шума статью Фукуямы «Конец истории», я раскрыл рот от изумления! Потому что Фукуяма (мне до сих пор кажется, что на полном серьезе) говорил то, что говорил Румате высокоученый доктор Будах: о том, что и не может быть никакого изменения в мире, и помыслить ничего нельзя. Потому что стройная пирамида – самое правильное и идеальное из всех геометрических тел. В нижнем широком основании – простой народ, дальше над ним идут, сужаясь, дворянство, духовенство, на самой вершине – король. И, таким образом, ничего изменено быть не может.

Наверняка Фукуяма слышал слово «диалектика», но понял ли он что-нибудь из этого звучания, я не знаю. Так вот, скажите, пожалуйста, поскольку отношение читателей к «Трудно быть Богом» не изменилось, отношение ваше к этому вашему собственному детищу не изменилось ли?

Б.С. Знаете, Миша, вот вы сказали мне, что я когда-то сказал, что Стругацкие недовольны были «Трудно быть Богом»...

М.В. Я вам клянусь! Я только из Ленинграда в Таллин съехал, часто наезжал. Мы пили кофе у вас на кухне, который вы сами варили в джезве, курили, вы курили еще тогда, и когда я упомянул «Трудно быть Богом», вы отреагировали – дословно: «Да вообще нам с Аркашкой эта повесть не очень нравится». Я только рот открыл. (Кроме того, что сам я всегда называл это романом, а не повестью.)

Б.С. Я, честно говоря, конечно верю вам... и не сомневаюсь, что у вас память оказалась лучше, чем моя. Но я на самом деле этого не помню. Я не помню, что мы когда-то между собой обсуждали эту повесть. Хотя часто с нами бывало так, что какая-то повесть приедалась, надоедала, или мы вносили туда столько изменений, что уже она становилась в каком-то смысле себе противоположной. Так что это вещь теоретически возможная. Но сейчас я просто не помню, почему мы могли быть недовольны «Трудно быть Богом»...

Вот тот диалог Руматы с Будахом, который вы сейчас привели, – он ведь для нас являлся основополагающим содержанием всей повести. Это была суть работы. Это была попытка понять: стоит ли игра свеч? За что боролись? О чем кино? Все эти попытки прогресса, – имеют ли они под собой какую-то базу теоретическую? Или это всё впустую, потому что человеческая

природа сильнее всего?.. Миша, этот вопрос остался открытым. Я не знаю ответа на него, я не знаю...

И повторяю по-прежнему: если не будет создана теория и практика воспитания, изначально превращающая человеческого детеныша в творческую личность, зло будет передаваться из поколения в поколение. С отклонениями в ту или в другую сторону. Отклонения эти будут, вероятнее всего, следствием технологического прогресса.

Ну, вот мы перестали, предположим, людоедством заниматься совсем недавно. Где-то несколько тысяч лет назад съесть своего противника было нормой, просто нормой! Это был просто положительный акт, которому должно следовать. Сейчас это выглядит диким, страшным.

Вот на моих глазах, как мне кажется иногда, происходит существенная перемена отношения огромных человеческих масс к войне. Ведь еще наше поколение в молодости, даже когда оно уже поумнело, даже когда оно стало понимать, как много ужасов и крови, и неоправданно, приносит война, – однако некое отношение к войне как к благородному действию продолжало сохранять. Заметьте, хорошие фильмы о войне мы смотрели с большим удовольствием, с большим сочувствием. И военные герои Баталова, Быкова для нас всегда оставались примером. Это длилось много лет. Понадобилось осознание Первой мировой, познание сути Второй мировой, в которой мы так и не разобрались, и, наконец, понадобилась Третья мировая, будем называть таким страшным словом всю совокупность сражений, кровопролитных, убийственных сражений за свободу, за идеологию, за социальный прогресс, которые происходили вот в конце XX века на наших глазах: будь то Корея, Вьетнам, в африканских странах события, арабские события, столкновения Израиля с арабами... – и начинаешь понимать очень отчетливо, что война, как и тюрьма, положительного опыта не дает.

Это не я придумал и не я сформулировал. Прочитал я это впервые у великого писателя, солдата Виктора Астафьева. Не дает положительного опыта война. Война – это всегда ужас. Что бы нам ни говорили идеологи, сколько бы нас ни убеждали в том, что бывают войны справедливые, бывают войны несправедливые, бывают войны хорошие, бывают войны плохие, – не бывают! Война – это всегда плохо.

Мы вынуждены вести войны иногда? Да. Происходит ли это помимо нашего желания или против нашего желания, но это всегда плохо.

Вот эта идея о том, что любая война – это плохо, мне кажется, за последние годы XX столетия и в начале XXI тем более, зреет и оформляется. И чем дальше, тем больше людей приходят к этой мысли. Это тоже, на мой взгляд, следствие страшных технологических сдвигов, которые произошли в жизни Земли и которые приводят в конечном итоге к каким-то очень важным нравственным открытиям. Очень медленно приводят. Это все происходит страшно медленно. Это дается очень тяжелой, кровавой ценой. При этом происходит очень много несправедливостей. А в общем и целом не меняется ничего... Все остается как раньше!..

Я думаю, что если, не дай Бог, снова встанет нужда: «Вставай, страна огромная!» – встанет страна огромная, встанут как миленькие все! Встанут и те, кто обрадуется этому, такие тоже будут. И их не так уж мало. Кто-то пойдет на самоубийство, на разрушение своего мира. Все встанут...

Есть вещи, чрезвычайно прочно засаженные в мировоззрение миллиардов – не миллионов, а миллиардов. И как от этого уйти?.. Отношение к войне – это реализуется не так уж часто, к счастью. К счастью, часто мы с гораздо более простыми вещами имеем дело. Не укради. Не возжелай жены ближнего своего. И так далее. Тут мы регулярно, на протяжении тысячелетий, терпим нравственные поражения. И никакие технологии, и никакие айподы не изменяют нас. Оставляют нас в рабстве у пресловутой голой ленивой обезьяны, которая сидит внутри каждого из нас и управляет нашими желаниями, нашими поступками, нашими требованиями жизни. И что с этим делать – непонятно...

Как эту обезьяну выдрессировать? Как ее усмирить? Как ее дисциплинировать? Как ее заставить заткнуться? Это все должна решить пресловутая теория воспитания – которой нет. И, к сожалению, повторяю, которая никому не нужна...

М.В. Если бы можно было правильным и качественным воспитанием делать сплошь хороших людей, это было бы прекрасно. Возможно, природа так устроена, что ей нужны разные люди... Я не уверен, что в принципе возможно добро и зло в человеке разделить по разным флаконам, и зло выплеснуть вон. И остается открытым вопрос, который встает в финале «Обитаемого острова», где оказывается, что борец за свободу Максим Каммерер, уничтожая узурпаторов власти и мыслей и вообще все нехорошее, – в результате вроде бы приносит этому обществу и народу только зло. Потому что теперь начнется хаос, разруха, бедствия. А людей пытались привести к счастью суровыми способами – их, глупых, о том не ставя в известность. То есть: может ли государство для блага людей – людей же несколько насиловать? А если это действительно благо? Этот вопрос никогда не имеет ответа...

Б.С. Да нет, этот вопрос, к сожалению, имеет ответ. И ответ этот отрицательный. Герой какого-то произведения (я уже забыл какого) – плохой человек, между прочим, с отрицательной характеристикой, – говорит: все, к чему прикасается государство, превращается в дерьмо. Я чем дальше, тем больше наблюдаю истинность этого утверждения.

Государство... Что такое государство? Государство – это толпа бюрократов, и больше ничего. К какому добру может привести толпа бюрократов, каждый из которых, по сути дела, интересуется только самим собой, своей жизнью? А если среди них, черт возьми, вырастает вдруг чудовище, человек, который (гадость сказал), «знает как надо», то, пользуясь властью бюрократа, он может творить такие ужасы, что не дай Бог!

Это мне все кажется чрезвычайно опасным, я бы сказал безнадежным, если бы я не помнил одного простого обстоятельства: мы в этой ситуации живем сто тысяч лет. Сто тысяч лет человечество подчинялось власти, управляла человечеством группа (будем называть их так) властолюбцев. Это не обязательно были бюрократы, но по сути дела – это были бюрократы. И каким-то образом, худо-бедно, но тем не менее прогресс куда-то движется, ребята, понемногу, как сказал Юлий Ким. Происходят какие-то сугубо позитивные сдвиги. Количество зверств уменьшается, хотя, к сожалению, они никогда не исчезают целиком. Никуда не деваются люди, которые «знают, как надо», и от них могут происходить большие неприятности.

Но главная ситуация, мне кажется, главный вывод совершенно оптимистический. Человечество оказывается такой мощной, такой многолюдной, такой устойчивой системой, которая чрезвычайно спокойно и, я бы даже сказал, равнодушно относится ко всем собственным попыткам разрушить себя. Очень мы устойчивы, очень мы не боимся никаких нарушений порядка. Может быть, в этом все и дело, может быть, если бы мы попытались создать теорию воспитания, то есть попытались бы создать человека нового типа, – может, это как раз и привело бы к нарушению стабильности! Такие крамольные мысли тоже приходят в голову.

А сейчас я вполне удовлетворен тем, как эти события развиваются. Да, много отвратительного. Да, много омерзительного. Да, человек бывает существом самого дна нравственного. Но никуда не денешься, ведь человек может быть и существом сияющих нравственных вершин. Каждое поколение дает нам таких людей. И что бы там ни говорили, именно эти люди остаются нормой, что ли, остаются образцом для существования всех прочих.

Конечно, бывали случаи в истории и, наверно, еще будут, когда полная сволочь и мерзость становится образцом для подражания. Вот сейчас у нас такие попытки не без успеха делают так называемые сталинисты. Тут ничего не поделаешь. Существуют классы людей, которым нравится быть рабами, нравится холопствовать, которые считают правильным такую ситуацию, когда барин все решает, а мы только прильнули к его теплему сапогу, надеясь на его расположение. Просто выясняется, что такие люди есть, понимаете? Откуда берутся – это другой вопрос. Вследствие воспитания, хотя какое воспитание? Где вы видели книги, которые воспи-

тывали бы такое холопство? Ведь если бы люди жили в соответствии с литературой, которую они читают, были бы все очень хорошие, добрые, честные, чистые люди. Нет, откуда берутся и холопы, и рабы, подлецы и лакеи? Они есть, никуда от них не уйти. Но и никогда не удастся сделать образ господина, образ барина самым желанным, самым перспективным, самым добрым, самым необходимым для массы. Это можно сделать только с помощью усиления массовой пропаганды, с помощью специальных вещей. Только так, и больше никак иначе.

Меня удовлетворяет порядок вещей. Всё это очень трудно. Это возможно, но всё очень трудно. А наиболее естественным все-таки оказывается путь среднего, спокойного, стационарного развития, которым человечество может похвастаться. Столько было возможностей саморазрушиться!.. Мы, наши миллиарды дорогие людские, так и не поддались ни на один этот соблазн. Это вселяет надежду.

М.В. А в таком случае полагаете ли вы, что занятия литературой имеют смысл, являются миссией, долгом, призванием писателя? Есть ли в них толк сторонний, можно ли этим изменить что-то в жизни? Или это, в сущности, такое же занятие человека, как любое другое. То есть видите ли вы в чем-либо миссию и долг писателя?

Б.С. Очень трудный вопрос, Миша. Тут хитрость и трудность его знаете в чем заключается: мы не понимаем, откуда это в человеке берется? Совершенно это непонятно. Непонятно, откуда берется это мастерство игры в шахматы. Откуда вот: два мальчика, одинаковых умненьких, скажем для простоты, не курят, не пьют в подъездах, не нюхают клей, живут одинаково, семьи хорошие – всё у них хорошо. Один становится бабником – а другой становится шахматистом. Какого черта? Что он в этом нашел? Что в его сознании щелкнуло и заставило перестроить весь организм, по сути дела, на новый образ жизни? То же, что и с шахматами, – уверяю вас, со всеми творческими потенциалами, будь то математика, поэзия, литература, искусство. Это неуправляемо, неопределимо, неподконтрольно.

Много говорится о том, что вот были такие замечательные люди, которые воспитывали поколения художников, воспитывали поколения писателей. По-моему, ни черта воспитать нельзя. По-моему, в человеке воспитать ничего нельзя, в нем все заложено изначально. Заложено этот потенциал загадочный. И в один момент этот потенциал начинает работать благодаря какому-то сигналу извне, а может быть изнутри. Поэтому на вопрос сей я ответить ничего не могу...

Я знаю, что литература, литературное призвание, как и всякое творческое призвание, может быть бесконечным счастьем человека, а может быть и бесконечным злом, горем. Я знаю, что каждое сильное увлечение опасно. Каждый человек, занимающийся литературным творчеством, ходит по грани страшного состояния, которое называется графомания. Большинству увлеченных пройти путь к творчеству не удастся. Они становятся не писателями – они становятся графоманами. Они становятся людьми, которые получают большое удовольствие от собственной работы. Это вечный, верный признак графомании.

А для того, чтобы получить удовольствие от действительно творчества, от победы в творчестве, – для этого нужно быть совершенно особенным человеком. И прожить, по-видимому, совершенно особенную жизнь. Промучиться, по сути дела, большую часть этой жизни – для того, чтобы раз в год, раз в месяц, но все-таки время от времени пробежаться по комнате и воскликнуть: ай да Пушкин! ай да сукин сын! Вот это максимум, на что может рассчитывать писатель, любой писатель, просто абсолютно любой.

Есть писатели типа Моцарта, а есть писатели типа Сальери, в большом или в малом искусстве тут разницы большой нет. По сути дела, всё сводится к тому же самому – к огромному труду, который либо имеет награду, либо нет.

И как на это смотреть в каждом конкретном случае? Каждый раз, когда берешь в руки книжку человека знакомого и неспособного, думаешь одно: господь с тобой, мальчик, ну зачем ты за литературу... Ну, ты хороший строитель, у тебя фирма была, чего ты ищешь, что потерял

в литературе. Но ведь ничего посоветовать ему нельзя. Нельзя! Я сталкивался с подобными ситуациями неоднократно, и каждый раз оказывался перед тупиком. Потому что сказать человеку: слушай, браток, у тебя никогда ничего не получится! Нельзя такое сказать. Это оскорбление, это обида смертельная, это ранение в сердце. А ты ведь можешь и ошибиться. Так что не знаю даже... много тут есть слов, но, по сути, сказать ничего не могу.

М.В. Вопрос о связи программы врожденной и программы воспитательной вечен, и в каждом случае свое. И каждой нормальный человек, который читал «Жук в муравейнике», думал и для себя решал: что делать, если человек не может сладить с собой? Человек запрограммирован в жизни совершить нечто, у каждого свое, и иногда черт знает, откуда что берется. Так нужно ли убивать того, кто сам не знает, что он должен сделать и что сейчас из этого выйдет? Ликвидировать носителя неведомой программы, не ведающего, что он творит? Прогрессора Льва Абалкина – надо убрать для спокойствия человечества?

Б.С. Либо я вас не понял, либо вопрос слишком очевидный. Убивать не нужно вообще никого. Убийство – это даже не последний довод, это ошибка. Этого делать нельзя ни в коем случае. Убивание – это прекращение процесса. Никто и никогда не имеет право заниматься прекращением процесса. Это даже Господь Бог, по-моему, не может сделать, – не должен, во всяком случае. И он этого не делает.

Но люди, к сожалению, иначе устроены. И для очень и очень многих прерывание процесса – это такое же естественное состояние духа, как и любое другое, как предложение выпить чашку кофе. Вот вам я даю чашку кофе, а вам я даю цикуту. И это нормально, и то и другое я объяснить могу. И то и другое понятно. И то и другое имеет смысл. Причем зачастую даже высокий социальный смысл. Тут уж ваше воображение работает.

Либо я не понимаю сам вопрос о нравственной допустимости подобного, либо я по этому поводу ничего сказать не могу. Убивать нельзя.

М.В. Когда-то давно-давно, вечером в Ленинграде, после заседания семинара фантастов на улице Воинова, в Доме писателей, на первом этаже в кафе, нас сидело человек пятнадцать семинаристов. Внимали шефу и осторожно спорили по частностям. И задали вы по ходу разговора вопрос. Если бы в мире было всего два слова: ДА и НЕТ и нужно было бы выбрать одно. И я сказал, разумеется, – ДА! А вы сказали с мудрой печалью, что в том-то и дело, что – НЕТ. Вы и сейчас так думаете (если понятно, о чем речь)? Потому что убийство Странником прогрессора Абалкина – это именно НЕТ. Нет всем возможностям, которые остались неизвестными.

Б.С. Вы ошибаетесь! Убийство Абалкина – это ДА! Это огромное ДА, во имя которого человек готов отдать всё: карьеру, надежды, счастье – всё. Вот это какое ДА, потому что это – спасение человечества.

Что же касается того вопроса об одном слове, то не я же его придумал. Насколько я помню, впервые я эту фразу встретил у Эренбурга, по-моему, это было в «Хулио Хуренито»... Этот вопрос задает Хулио Хуренито своим адептам, своим ученикам. И главный герой, собственно Эренбург, отвечает: НЕТ, конечно, главное слово – НЕТ! И когда-то, будучи человеком молодым, я, в общем, понимал правоту Эренбурга, я поддерживал и тоже считал, что – НЕТ.

Почему? Мне казалось, что это происходит не потому, конечно, что у слова НЕТ есть какие-то волшебные свойства. А потому, что большинство утверждений, с которыми человек сталкивается, может быть, подавляющее большинство, может быть, даже – страшно сказать – все утверждения, с которыми он сталкивается, – ничего, кроме НЕТ, не заслуживают. Вот есть такое, было у меня такое подозрение.

Сейчас я стал заметно старше, и я совсем в этом не убежден. В моей собственной личной жизни встречались ситуации, когда слово ДА заведомо преобладало. Но... черт его знает, я и сегодня не знаю, что надо выбрать.

М.В. Если вы не знаете, то кто же, простите, будет отвечать на главные вопросы. Масса людей сверяла свои представления о жизни и устройстве мира по вашим книгам. Стругацкие

были очень главными, в разных смыслах. И стойко полагали (с вами самими как-то неуместно, неловко было об этом заговаривать) и фэны семидесятых, и просто многие читатели и любители литературы, и любители сплетен в том числе, что братья Стругацкие являются безоговорочными чемпионами советской литературы на продажу за границу через ВААП. Что Стругацких, купленных и переведенных за границей, там в несколько раз больше, чем любого другого советского писателя. Ну правда, что касается гонораров, то ВААП оставлял себе так процентов примерно девяносто семь. И все приличные читатели гордились тем, что вот всё-таки хотя официально называются, я знаю, Георгий Марков и прочие сановные идиоты, а на самом деле за границей хотят Стругацких. Насколько верна эта мифологическая информация?

Б.С. Она по сути своей, по сути – верна. Действительно был такой период, начало-середина восьмидесятых, когда довольно много публиковалось сведений по поводу выхода советских переводов за границей. И по этим сведениям совершенно законно и совершенно цензурно сообщалось, что Стругацкие находятся на первом месте по переводам с огромным отрывом. Я боюсь сейчас назвать коэффициент, но в несколько раз мы переводились чаще, чем любой другой советский автор, каким бы он ни был знаменитым. Такой период на самом деле был.

Но делать из этого вывод, что ВААП использовал это обстоятельство для получения каких-то сомнительных финансовых средств своей организацией – нет, это слишком. Ничего подобного, конечно, никогда и не было. ВААП с большой неохотой публиковал Стругацких.

У нас были, как говорится, свои люди в ВААПе, которые нам честно говорили: вот мы пытаемся пробить, ну, я не знаю, «Жука в муравейнике», но не получается. Ну начальство против, ну не хотят они. Я наугад говорю. Это могло быть совсем что-то другое. Скажем, «Гадкие лебеди».

Я прекрасно помню историю с «Гадкими лебедями». «Гадкие лебеди», как вы, наверное, помните, были опубликованы без нашего разрешения антисоветским издательством «Посев».

М.В. Да это был главный литературный скандал после высылки Солженицына. Газеты негодовали. После этого все семидесятые Стругацких печатал только журнал «Знание – сила».

Б.С. Был жуткий скандал по этому поводу. Начальство нас вызывало на ковер. Мы писали какие-то объяснения отвратительные. Потом все затихло. Конечно, ни о какой публикации в России, в СССР быть не могло.

Но. Спустя два-три-четыре года, я не помню, сколько лет спустя, вдруг возникла ослепительная идея опубликовать «Гадкие лебеди» законно иностранным издательством (ни в каком ни в антисоветском, в нормальном каком-нибудь спокойном издательстве), получить за это денежки – большие денежки, обращаю ваше внимание! Потому что особо большие деньги предлагались за произведения в СССР не опубликованные, а те, что обычно переводились, были, как правило, опубликованные, и платили за них, соответственно, в два-три раза меньше. Что ВААПу, конечно, не нравилось. А тут возникла возможность – впервые! – не опубликованное в СССР произведение вновь и легально опубликовать на Западе и получить большие деньги! Все довольны, план выполняется!

Фига с два! Примерно год длились по этому поводу переговоры, и кончились они абсолютно ничем. Как это обычно бывает: пришел новый начальник ВААПа, не помню уже, кто там именно был, и приказал: уберите от меня это, я не собираюсь на эту тему даже разговаривать. И весь спор был окончен.

Так что говорить о том, что ВААП использовал имя Стругацких для получения каких-то там дополнительных хозяйственных выгод, – это смешно. Не было никаких хозяйственных выгод, когда речь заходила об идеологии. Этого не было никогда. Героями таких поступков не могли быть ни Стругацкие, ни даже Константин Симонов, скажем. (Какие-то истории я слышал насчет публикаций на Западе Симонова.) Никто не мог замахнуться. Идеология превыше всего! Это была установка однозначная и неотменимая.

М.В. И все-таки интересно же, особенности минувшей эпохи, – так какую же долю от гонораров зарубежных издательств ВААП оставлял себе, а какую все-таки отдавал вам?

Б.С. Это вопрос, к сожалению, не такой простой, как может показаться. Потому что мы делали несколько запросов в ВААП. Мол, что там у нас и у вас. И получали все время разные ответы. Значит, колебалось всё это в пределах от семидесяти до девяноста процентов. То есть от семидесяти до девяноста процентов гонорара забирал себе ВААП, государство. А оставшиеся десять – тридцать процентов выделялись нам в виде так называемых чеков. По-видимому, это совпадает с действительностью, похоже на действительность.

Уже значительно позже, почти в новые времена, нам приходилось говорить на эту тему с Эдиком Успенским, который очень много издавался на Западе. И он подтверждал эту цифру. Да, процентов семьдесят – восемьдесят – девяносто они у него забирали. Так что это, вероятно, правда.

М.В. Какие у вас в сумме были тиражи в Советском Союзе? А затем в России? Считали ведь, наверное, ваши тиражи в Советском Союзе, а затем в России?

Б.С. Да честно говоря, не считал.

М.В. Так и запишем: без счета. А предположения строили?

Б.С. И предположений ведь не строил. Это какие-то миллионы, наверное.

М.В. Есть подозрение, что не «какие-то»! Это огромные миллионы. Ведь в советские времена меньше чем стотысячником вас не издавали.

Б.С. Нет... ну, наверное, миллионов двадцать вышло за все время. Причем в основном при Советской власти, между прочим. Потому что в новые времена издавать стали обильно и с огромным удовольствием все, кому не лень. Тиражи-то стали маленькие. Тиражи упали в десять раз. И хотя число названий книг выросло в десять раз, в результате получилось баш на баш.

Не в тиражах счастье. Читают – и слава Богу.

Сергей Юрский
Театр и доказательство небесмысленности

Большой драматический на Фонтанке – лучший театр в мире.



Георгий Товстоногов, Татьяна Доронина, Ефим Копелян... В этом театре звездами были все.

Михаил Веллер. Пятьдесят лет я хотел задать вам этот вопрос! Пятьдесят лет! Для меня театр начался в четырнадцать, когда я приехал в Ленинград на школьные каникулы, и мне достали билет в БДТ на «Горе от ума». В гробу я видал это школьное программное горе – но театр! в Ленинграде! в жизни не был. А попал я на пятую премьеру, как узнал из разговоров в фойе.

Потрясение произошло сразу, как только погас свет. Занавес открылся – а за ним оказался второй занавес, зеленый, как бильярдный стол или суконная штора, и в правом верхнем углу – белый прямоугольник, а по нему рукописным почерком: «Черт догадал меня родиться в России с умом и талантом» Пушкин».

Это ошарашивало. Сбивало с толку. Мы такого не проходили.

Занавес шел вверх, и к рампе выходил высокий прямой старик в камзоле и с жезлом. В полной тишине он трижды бил жезлом в пол и голосом царского указа возвещал:

«Сегодня, шестого дня января тысяча девятьсот шестьдесят второго года от Рождества Христова, на сцене Государственного Большого драматического театра имени Горького будет в пятый раз дано представление – комедия господина Грибоедова «Горе от ума»!»

Отступал шаг назад, поворачивался в три четверти и продолжал:

«Позвольте представить вам действующих лиц».

И за кисейной занавесью разгорался гнойный зеленовато-желтый свет, и на движущемся круге плыли фигуры, застывшие в гротескных и уродливых позах, как восковой паноптикум.

И вот это потрясение, это ошарашивание, эта отодвинутость спектакля от здесь и сейчас не проходила до финала. И она смешивалась с оказывающейся сегодняшней, злободневностью происходящего, и это был вообще конец всему. Вот с этого спектакля я люблю Грибоедова всю жизнь.

Но я разболтался. Это все преамбула. Просто не было сил не вспомнить. Чацкий – Сергей Юрский. Софья – Татьяна Дорониная. Молчалин – Кирилл Лавров. Лавров вообще играл всех положительных и был награжден всем. А Юрский играл кого ни попадя, и амплуа сказывалось на судьбе актера (слово «имидж» тогда не употребляли).

И вот финальная сцена перед последним монологом Чацкого. Все всем открылось, точки расставлены, свет гаснет.

И вот в этом мраке на сцене – отчетливо кажется, что Софья и Чацкий отчаянно бросаются друг другу на шею! Любя, разрываясь от горя!..

И вот полвека спустя я с замиранием спрашиваю: Сергей Юрьевич, дорогой, откройте: это вправду было? Или казалось?

Сергей Юрский. Во всяком случае – что-то подобное должно было быть... Да, это была надежда!.. Мы ее не то чтобы вслух обсуждали, проговаривали, нет. Но она – предполагалась. Здесь у Софьи открывались глаза на Молчалина. Это благодаря Чацкому она увидела свое окружение. И они бы что-то могли бы? Но – БЫ!.. И Чацкий, сломленный, покидал этот московский мир навсегда...

Конкретных объятий никаких не было. Я делал это внутренним движением, внутренним усилием, – которое должно же было как-то выразиться в движении внешнем. А это движение, если вы его угадали из зала, ощутили, – это, собственно, то, что и делает театр искусством пока еще не умершим. Мне кажется.

Если спектакль идет правильно, если возникли правильные взаимоотношения со зрительным залом – то человека на сцене можно видеть насквозь. Он может заявлять о себе самые хорошие вещи, окружающие могут считать его ангелом – а он насквозь вам виден как лгун.

И если мужчина делает порыв к женщине – а на самом деле остается стоять на месте, но порыв виден, ясен! – что ж может быть еще лучше?..

М.В. Простите за вольность, но для себя я сравниваю Товстоногова как режиссера с сиамской кошкой среди кошек. В сущности, она точно такая же, как другие, – ну, просто

немного живее, немного веселее, немного игривее, немного общительнее и разговорчивее. И после нее с другими уже неинтересно. И вот мы тогда, обычные зрители, не знали же, что Товстоногов гений, никто его не называл великим. Нам никто такого не говорил, в газетах не писали. Но что-то такое чувствовалось!..

В шестьдесят шестом году я поступил в Ленинградский университет – и стал ходить в БДТ. По первым-одиннадцатым-двадцать первым числам занимал очередь в шесть утра и брал билеты за две декады вперед, как тогда водилось. Очередь обменивалась мнениями и впечатлениями. Поведывали сплетни, тайны и планы.

По тогдашней терминологии: была «сюжетная» публика, которой надо было попроще; были театральные старушки из «бывших», ходившие на дешевые билеты по три раза на спектакль. И – была своя, негласная табель о рангах. С гласной все совершенно ясно: там были народные СССР и РСФСР, заслуженные, Герои Труда. А была негласная табель... и очень значимая, общепринятая: шестидесятые годы ведь...

Вот в этой негласной табели о рангах Сергей Юрский был ленинградским актером номер раз. И это хотя в Ленинграде не было принято ходить на актеров, это в Москве ходили, в Ленинграде ходили на спектакли. Мощный был театр.

С.Ю. Потому и театр был мощный, что ходили на спектакли. Иная система ценностей, интересов, возможностей у массы публики.

М.В. Да по многим причинам, наверное, театр был мощный. После Чацкого Юрского я ходил на Чацкого Рецептера. Весь город ходил сравнивал, обсуждал. Два разных решения роли. Ваш был сильнее, мужественнее, ироничнее...

О другой роли. Вы играли Гвиччарди в «Четвертом». «Четвертый» был выставлен потрясающе.

С.Ю. Эта пьеса Константина Симонова на западную тему, как бы о западных людях, тогда гремела, звучала остро.

М.В. Нам изображали врагов-американцев – а ценности у них те же, система совести та же, что здесь. И вот в сцене серьезного разговора, размолвки Гвиччарди со старым фронтовым другом по Соппротивлению, оба сидят молча, он прикуривает разом две сигареты, одну вынимает изо рта и протягивает другу.

С.Ю. Вы это помните!

М.В. Этот жест я видел впервые. Потом сам иногда так делал... Вы это подсмотрели где или поставили так, сами придумали?

С.Ю. Да нет, сам придумал. Что-то в этом было правильное, по настроению, по отношениям этих двоих. По ситуации верно. А через много лет – увидел, убедился по американским фильмам, что жест это существующий вообще, принятый!.. Значит, я не Америку открыл, а вот открылось, что в Америке это есть, может быть, или должно быть: висело в воздухе. Это жест дружеский, близкий, среди своих, когда мало огня, спички кончаются, когда лучше не светиться, вот одно прикуривание на двоих.

М.В. Гениальность – это когда ты делаешь что-то неизвестно почему, а потом оно оказывается правдой. Но не могу оторваться от репертуара...

Пьеса Штейна «Океан» в сущности была советско-военно-патриотическая. Секретарская литература. Военно-морской флот в суровые мирные будни. Чтоб из этого главпуровского назидания сделать спектакль, на который в Ленинграде будут ломиться знатоки, – это надо было уметь!..

Роль там у вас была самая выигрышная. М-да, необходимо заметить, что практически все ваши театральные роли были самыми выигрышными в репертуаре.

С.Ю. Вот повезло, да? Я не жаловался.

М.В. Играть героев сомнительных и неоднозначных, уж конечно, лучше, чем сугубо положительных. Однолинейных вы не играли.

Вот Кирилл Лавров играл положительных. У него фактура такая была, характер такой. В «Океане» он играл Платонова – во всем положительного, примерного офицера, делающего заслуженную карьеру.

А Юрский играл разгильдяя Часовникова, выпивающего озорника с романтическими завихрениями. Кстати, стихи, которые там цитируете вы, в смысле старший лейтенант Часовников напечатал во флотской многотиражке: «Задрайка люков штормовая и два часа за сутки сна», – откуда стихи, не помните?

С.Ю. Вот это не мое. Не сам придумал. Не помню уже. Очевидно, из текста.

М.В. Стихи-то вроде племянника Александра Штейна, старшего лейтенанта Бориса Штейна, служившего после училища в таллинской базе. Мы знакомы были когда-то. Мощный умный дядя с племянника своего «Океан» списывать и начал, партийно домысливая.

Но мысль меня после «Океана» посетила печальная.

Вот Лавров играл всех положительных – от Молчалина до Ленина. Он играл Жмакина в «Верьте мне, люди», играл Синцова в «Живых и мертвых». Таких крепких, собранных, положительных людей. И официальные награды шли естественным ходом, вплоть до самых высших.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.